

Иван Щёлоков

Город на лучах зари

Стихи, эссе о Воронеже

Воронеж
2026

УДК 821.161.1-1
ББК 84 (2Рос = 2Рус) 6-5
Щ 46

*Издание осуществлено на средства стипендии
Министерства культуры Российской Федерации*

Щёлоков И.А.

Щ 46 **Город на лучах зари.** Стихи, эссе о Воронеже. — Воронеж: АО «Воронежская областная типография», 2026. — 328 с.

ISBN 978-5-4420-1294-1

«Город на лучах зари» — книга воронежских сюжетов поэта и публициста Ивана Щёлокова. Лирические стихотворения и эссе написаны автором в разные годы, но роднит их вдохновенное слово, воссоздающее образ города в его исторических, событийных и вневременных палитрах и голосах. Воронеж — город знаменитых и безымянных земляков; город писателей, поэтов, художников и музыкантов; город парков, мостов и памятников; город летних гроз и весенней зелени, осенних листопадов и зимних вечеров; город влюблённой студенческой юности и город драматичных перестроечных лет; город встреч и разлук, раздумий и открытий, сомнений и тревог, ожиданий и надежд.

*На обложке репродукция картины
Ирины Ворошилиной «Воронеж»*

ISBN 978-5-4420-1294-1

УДК 821.161.1-1

ББК 84 (2Рос = 2Рус) 6-5

Щ 46

2-е издание, дополненное и переработанное

© Щёлоков И.А., стихи, эссе 2026.

Стихи



* * *

Мой город пробуждается легко,
Снимает сон, как маску лицедей,
И пьёт взахлёб речное молоко
Среди прохлад умытых площадей.

Ночной спектакль порядком утомил
Игрой в рекламу, пабы, фонари...
По куполам, по кружевам перил
Мой город скачет на лучах зари.

Он в этот миг похож на сорванца,
На юношу влюблённого...

Мосты

Соединяют, как любовь сердца,
Двух берегов знакомые черты.

Сверну к холмам с Чернавского моста.
Лебяжьим пухом льнёт к воде рассвет...
Воронеж мой, ты счастье и мечта,
Иной судьбы у нас в запасе нет!

2011

* * *

А на правом берегу — всё холмы,
А на левом берегу — всё низинки...
Каждый берегом своим ходим мы:
Ты на этом, я на том — половинки.

А на левом берегу поутру
Солнце девкой от румянца зальётся.
А на правом берегу ввечеру
Месяц парнем на холмы заберётся.

Забредём на бережок с бережка,
Перекинемся словечком да взглядом...
Ах, засветится от солнца река,
Ах, украсит её месяц нарядом...

А на масленицу — свадьба. И пост.
Девка — пава, парень — гоголь заправский...
А на месте том построили мост,
Нарекли его в народе Чернавским.

2024

* * *

В.В. Будакову

Город, город с вертолѣта.
Птица около винта.
Есть божественное что-то
В чистом слове: вы-со-та...
Речка. Луг. Бугор. Селенье.
Новый крест монастыря.
И со всех сторон свеченье
Душ, небес и пустыря.
Что знакомо — непривычно,
Что привычно — вечно в нас...
Чтоб понять, зачем мы нынче,
Вознесись, поэт, на час!

1994

* * *

В. Нервину

Где он, город колокольный
С колокольчиком-луной?
Был привольный, стал прикольный,
В лёд закованный зимой.

Шиком зданий несуразных,
Пёстрым бликом витражей
Он в меня вместился разом,
Без углов и этажей.

В этот миг, забыв о быте,
Выйду в люди, не бузя.
Я его не худший житель,
Без меня ему нельзя.

Где-то поле, где-то воля,
Синь и солнце без конца...
В небоскрёбах ветром воют
Пеноблочные сердца.

Сквер Петровский, Первомайский,
Башня, храм и Детский парк...
Воровской ли век, бунтарский —
Всякий пыл выходит в пар.

Души к душам льдинкой липнут.
В полночь девой в створ окна
В верхотуре стеклоликой
Виснет страстная луна.

2015

* * *

Ближе к ночи прояснится небо,
В пристань льдинкой уткнётся вода.
Зря решил ты, что будто тут не был.
Отчего же взволнован тогда?

Словно льды, растопи эти мысли.
У обид не бывает мостов.
Как цепляется сердце за мгlistый
Берег ветками голых кустов!

Даже если прояснится небо
И дохнёт над водою мороз,
Ты не думай, что будто тут не был
И не гладил стволы у берёз.

Сплошь усыпала осень дорожки
Пёстрым бархатом поздней листвы...
Ну, ещё, ну, чуть-чуть, ну, немножко
Вдохновенней наклон головы!

Это позднее звёздное небо —
Не причина, не следствие, всё...
Убеждай себя, будто тут не был,
А дыханье от речки — твоё!

2008



* * *

Век мой белый, век мой красный,
Весь в бореньях поседелый,
Ты ужасный ли, прекрасный
Или просто обалделый.

Просто душу потрепавший,
Просто сердце простреливший...
Брат, в чужом краю пропавший,
Сват, в тайге сибирской сгнивший...

Кто ты мне, мой век-разбойник,
Резких красок злой метатель?
Прадед был кулак-раскольник,
Дед — партийный, председатель.

Красит лист октябрь подённо
В красный, в белый, в серебро ли...
Красный — с конницей Будённый,
Белый — Мамонтов, Шкуро ли...

Ты, Воронеж, в переливах
Цвета пёстр, в былое канув
Вихрем белого прорыва,
Маршем с красными полками.

В революцию, как в небо,
Вместе с памятью всплываю...
Век прошёл, а мне бы, мне бы
Примириться как — не знаю.

2017

УСПЕНСКАЯ АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Есть в Воронеже замечательный архитектурный памятник 17 столетия — Успенская Адмиралтейская церковь. Своды храма помнят поступь Петра Первого и металлический отзвук каблуков хулителей времён воинствующего атеизма.

По преданию, в Великую Отечественную войну красноармейцы, освобождая правобережье Воронежа от фашистов, молились на обезглавленные купола храма.

Город сер от бомбёжек и горя.
Кровь рябин на губах горчит.
Храм Успенский под снежным взгорьем
С довоенных годов молчит.
Ах, куда ж эти годы сгинули!
Помнит Русь, как среди скорбей
Плакал колокол над могилами
Православных своих сыновей.

А ещё ликовал младенцем,
Аки Петр; и на царский зов
Откликался стозвонно, с сердцем —
Турок бить, воевать Азов.

Две вдовы пережитым делятся,
Словно памяти нить прядут:
— Я в Успенской крестила первенца...
— Я с Митрошей венчалась тут...

Город жив. Разгромили фрицев.
В зимнем небе луна светла.
Как охота бойцам молиться
На безглавые купола!
И за тех, кто в донской излучине,
Веря в Сталина и ЦК,
Оставался лежать под кручами
Грязно-глыбого известняка;
И за них, за родных, немного —
Ярославен, Марусь и Лиз,
Кто с рождения верил в Бога
И ничуть не в атеизм.

У бойцов в наступленье нервы —
Звуки тысячи колоколов...
Не успели лишить их веры,
Хоть и сбили кресты с куполов!

1993

* * *

Время инфляции, время инфарктов...
Кто из нас выдюжит — ты или я?
А на аллеях Кольцовского парка
Золотом чистым горят тополя.

В сумму какую сердцам обойдётся
Щедрый на редкость для всех листопад?
Медной копеей над городом солнце
Медленно катится в дымный закат.

1989

ЧУЖАЯ ОСТАНОВКА

Девушка в чёрном платке.
Взгляд обмороженной розы.
Перстень на левой руке
Бел и пушист на морозе.

Сонная злая толпа
Жмётся, насупясь, к бордюру.
Галка с макушки столба
Весело каркнула сдуру.

Девушка! Что за беда
В час предрассветной тусовки
Вас притащила сюда,
К этой чужой остановке?

Вот и троллейбус. И мат —
Жалкая чья-то надежда.
Двери вагона трещат,
Словно девичьи одежды.

Что им ваш чёрный платок,
Горем увитая чёлка!
Неуправляем поток
Сонной толпы с остановки.

1992

ПЕРЕУЛОК КЛИНИЧЕСКИЙ

Переулок Клинический.
До больницы — рукой...
Чей-то смех истерический
За калиткой глухой.

Чьи-то фразы отборные,
Чья-то жизнь враскосяк.
Сцены — сплошь подзаборные
Совершенно за так.

Магнитола японская,
Надрываясь, хрипит...
Эх ты, Русь растаковская,
Переклиненный быт!

От простынок крахмаленных,
От цветущих садов —
Белизна поминальная
Девяностых годов.

1992

В ГОРОДЕ N

В городе N
Без перемен:
Осенью дождь, а зимою мороз.
Дворник с метлой,
Вечно хмельной,
Держит по ветру малиновый нос.
В городе N
Ждут перемен:
Снега — зимою, а летом — дождя.
Дворник с метлой
Умер в запой —
Сутки гудят на поминках друзья.

В городе N
От перемен
Двор не метен уже месяца два.

В ЖЭУ кричат:
«А не хотят
В дворники нынче — такая братва!»
В городе N
Тьма перемен:
Двор на аренду бригада взяла.
Семеро пьют,
Двое метут.
Мат-перемат от угла до угла.

1993

ТЕРРА ИНКОГНИТА

*И, взглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства...*

А. Блок

1

Столб фонарный.
Ночь слепая.
Кулинарный
Дух Китая
Из общаги
Институтской
С русской брагой —
Мир вприкуску.
Бомж с авоськой
У простенка,
Будто Троцкий
Или Стенька...

Эко ж выдал
Куль в пригоршне!
Бомж — не идол,
Он — хороший.
Он — дворовый,
Всем он свойский
В этой новой
Жизни скотской.
Бомж за угол
Шмыг тихонько,
Был и убыл...
Убыль только!
Темь подножкой
За общагой.
Возглас кошки.
Рык дворняги.
Сгинь же, сила
Колдовская:
Вся Россия —
Рвань честная.
Без надежды

Мы бомжами
Рыщем между
Этажами
По общагам
Институтским,
Под напрягом
Проститутским...
Ночь без света.
Путь без веры.
Русь ли это?
Терра...терра...

2

Ни аптеки, ни фонаря.
Только ночь. Далеко заря.

Только ночь да подъёмный кран —
Обесточенный великан.

Территория немоты.
Думы, думы... И с ними — ты.

Бомж с подругой поют в кустах.
Песня — стыд, песня — боль и страх...

3

Живу на отшибе. Под боком — дубрава.
Пустынные ветры, как псы при облаве,
В утробе площадки строительной дерзки.
Здесь даже луна над тобою по-зверски
За башенным краном, у лифтовой шахты
Готова к прыжку из заоблачной вахты.

Отшиб — не помойка. И всё-таки страшно,
Как в детстве, как в боли, как в жизни вчерашней.
Залетошный жёлудь с макушки сорвётся —
Растяжкой сердце от звука замкнётся,
Как будто за ближним оврагом замшелым
Пространство Панкисским простёрто ущельем.
И птицею сердце порхнёт за сторожку,
Чтоб в темени гулкой разбиться в лепёшку.

Отшиб — не тюрьма, лишь уклад, ожиданье,
Надежда, что будет достроено зданье,
Где сам ты — конструкций живая частица,
Как в этой недалней дубраве синица...

Живу на отшибе у рая, у ада —
На бывших делянках учебного сада,
Где в пояс бурьян, корневищ терриконы
И где в котлованах осколки, патроны
Минувшей войны и растроченной славы...
Нет вечного даже в масштабах державы!
Лишь сторож на вверенном службой объекте
Хозяйски приносит собакам объедки
И курит ночами, и дверь нараспашку:
Ему наплевать на любую растяжку!

2002

* * *

Среди дубрав заметней позолота.
И в пёстрой череде осенних дней
Ты ищешь вновь отчаянно чего-то
И не находишь в памяти своей.

Сверкнула жизнь, как луч безумной мысли,
И высветились в тайнах бытия
Минувший век, Воронеж, крах Отчизны
И перестроечная молодость твоя.

Лишь жгучий стыд за слепок от подошвы
На глине у вчерашней колеи,
За век, в котором ты родней не больше,
Чем в Африке донские журавли.

Смешенье улиц, лиц и ощущений,
Смещение дат, и лет круговорот,
И злое чувство перевоплощения,
Где настоящим прошлое живёт...

С проспектов не видны за поворотом
Грядущего ни скудость, ни размах.
В дубравах лишь заметней позолота,
На глине — ветра выстуженный шаг.

2002

МОЙ ВЫБОР

Ничего не хочу.

Не хочу есть, не хочу пить, любить не хочу...

Друг говорит:

— Устал!

Наверное, так.

Но это будет не вся правда.

...В Воронеже, как и в стране, снова выборы.

Кандидаты чуют и поливают друг друга грязью.

Партии ищут национальную идею

И национального лидера,

Выводят на улицы толпы,

И те идут с флагами и транспарантами.

Жалко видеть мальчишек и девчонок

в цветных курточках:

За пару сотен рублей им засоряют души.

Площадной мусор — самый разъедающий.

Поколение оранжевых революций

устанет раньше нашего.

Нас опустошили гласностью и перестройкой,

Но это было романтическое опустошение —
По взаимному согласию.

Нынешнее циничней:

Оно — системная часть пиар-технологий...

Пройдёт время,

И эти мальчишки и девчонки тоже ничего не захотят.

Настоящий выбор сердца не на площадях,

Не в шелесте флагов и не в лозунгах транспарантов.

Настоящий выбор в шёпоте берёзовых веток,

В желтоглазой луне над ночной августовской степью,

Пахнущей яблоками, дынями и пылью,

В пирожках мамы, которые она пекла на день рождения.

В этом — мой выбор!

Бог не дал мне денег, но одарил правом выбора —

Самым главным богатством человека.

И я не хочу его терять!

Не хочу, чтобы у меня его отнимали!

Да, моё усталое сердце ничего не хочет.

Но оно ещё умеет сострадать и помнить добро.

...Я выбираю сердце!

2007

* * *

В Воронеже февраль. Ещё морозно.
Ещё снежок коварен, словно враг.
Он вынуждает дёргаться нервозно
Крутые «тачки» и толпу зевак
Вдоль набережной, там, где автогонки
На льду водохранилища, к мосту,
И где девицы, словно амазонки,
На иномарках ввозят красоту
Моднючих стрижек, кремов и помады,
Духов и курток, тоненьких бровей
И сигарет — сто миллиметров смрада
Меж кончиков наращенных ногтей.

А что февраль? Февраль — всего лишь повод
Для слухов, сплетен, прочей ерунды,
Чем наряду со снегом дышит город
В преддверии тепла, большой воды...

На площади вождя в бетонной рамке
Каток — как аргумент в чужой игре:
Не допустить здесь митингов и драки
Ни в феврале, ни позже — в сентябре;
И если что, туда всех, к автогонкам,
Где девочки, зеваки и азарт:
Пускай у речки надрывают глотки,
Призывным эхом вдохновляя старт.

Февраль таков! Конец или начало?
Никто не знает. И опять — снежок.
И «тачку» занесло — не избежала...
Зиме каюк, но строится каток...
Февраль, февраль... Предчувствие большого.
И шевеленье клеток там, внутри.
И рёв моторов с поймы: автошоу —
Прикольный отдых, что ни говори.
Там всё живёт по правилам азарта,
Захватывает дух и рвёт сердца...
И хочется до наступленья марта
Немного водки, с чесноком сальца.

2009

* * *

Сергею Пылёву

Погляди — за окном человечество...
Люди Господа, где правота?
Поселилась сверчками запечными
В вас бессмысленная маета.

Соловьям не поётся, а ропщется,
Даже рыбы отставили клёв...
Видит всё из Берёзовой рощи он
Мудрым оком — Серёга Пылёв.

Вам родиться б красивыми птицами,
Вам бы радужной вспыхнуть звездой...
Видит он, как под умными лицами
Примирились сердца с пустотой.

Будет ясный ли день с чётким профилем
Иль обманчивый разума сон —
Видит всё за окошком Прокофьевич,
Зря ли он в человека влюблён.

2018

* * *

Пока по ночам над стихом я корпел
ненасытным романтиком,
Пока чистоплюйка-душа
городила из строчек своё естество,
На улице Мира
к «хрущёвке» в гробу привезли лейтенантика:
Он был вертолётчик,
под Бахмутом сбили в горячие дни СВО.

Ушло естество...
Лишь пустая,
без детского смеха песочница,
Гараж ветерана из ржавых листов,
с тополиных серёжек — пыльца...
И брови мои —
крылья раненой птицы —
сползли к переносице,
Не вскинуться им,
будто тоже хватили в небесном паренье свинца.

* * *

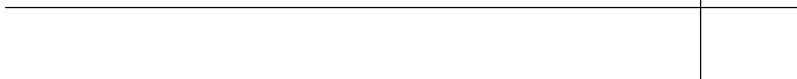
От погоды нет поблажки.
Дождь и снег — небес поруха...
Беспилотник ночью рухнул
На балкон многоэтажки.

Жизнь сыграла на удачу.
Взрыва не было. Девчонке
Посекло стеклом ручонки,
Не случилось даже плача.

Ночью город спал без страха
И не ждал залётной твари...
Ветер сдул остатки гари
К речке около оврага.

Воробьи по веткам скачут,
Добавляя круговерти...
В миг слетевшей с неба смерти,
Жизнь, и вправду ты — удача!

2024

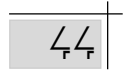


КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

О звон колокольный с холма
от Покровского храма!
Едва продираясь
сквозь шорохи листопада,
Биением сердца стучится
в оконную раму
В малиновом зареве клёнов
Кольцовского сада.

Как будто признать,
породниться нас заново просит —
Безбожных потомков
большого людского недуга...
Без этого звона
и осень в России не осень.

Без этого звона
не сыщется верного друга.



Без этого звона
не сложатся дело и песня,
И беды не сгинут,
не сгладятся шрамы...
Восходит, возносится он,
как Христос, в поднебесье
И душу мою увлекает
в оконную раму.

1993

* * *

Скучая, осень ворожила:
Листву по паркам ворошила,
Дышала стылым ветерком
В угрюмый люд. И вечером
Вела по улочке Манежной
Вниз до реки, где у прибрежной
Полоски в первых скобах льда
Томилаь ранняя звезда;
И где поодаль, за стремниной,
С тоской почти что журавлиной
Семейство сытых диких крякв
Будила сизый полумрак.
А рядом отражали воды
Монастыря резные своды,
Кресты и кровлю куполов
В подсветке трёх прожекторов.
И странно было: в отраженье
Душа искала испуленья,

Как будто нет у ноября
Дорог к божнице алтаря.
И в страхе чуть ли не острожном,
С предощущением тревожным
Туда, где терпкий дым свечей
Напомнит: кто ты есть и чей! —
Ты вновь по улочке знакомой
Спешил, надеждою влекомый,
Вверх по ступеням бытия —
Вернуть в привычный мир себя,
Где осень, походя, вершила
Игру: снежками порошила
Постройки, стёжек крутизну,
Гордыню чью-то, и вину,
И поцелуй влюблённой пары
На бойкой сцене тротуара,
Чтоб завтра новый вышний час
Блажил, и вёл куда-то нас,
И волновал невыразимо
Явленьем первого зазимья.

1997

СКАЗАНИЕ О ПЕРВОМАЙСКОМ ПАРКЕ

1

Весна, насыти верой!
В душе сплошной обвал.
Здесь, в Первомайском сквере,
Строительный аврал.
Здесь, за оградой, жарко.
Как поясняют нам:
Что был на месте парка
Давно когда-то храм;
Что искупить пора нам,
Покаяться при всех —
Безбожным горожанам —
За совершенный грех;
Что непременно скоро
Средь тополей и лип

Величие собора
Нам явит Божий лик...
Лишь в городском кадастре
Со зла, как сургучом,
Пришлѣпнут словом: «Здрасьте!
Ну, храм... А мы при чём?!»

2

Я жил, я торопился!
Не замечал я лет!
И в храмах не молился,
И не давал обет.
Лет десять в парке не был
С детьми или без них.
Не помышлял о небе,
Об истинах святых.
Судьба меня носила,
Как океана вал.
Что ж на душе тоскливо,
Как будто что украл!..
Пройдусь ли ненароком
Вдоль тропок мне родных

Без подлого намёка,
Без помыслов дурных,
Лишь только б взгляд прощальный
Под гомон воронья
Запечатлел детально
Картинку бытия:
Оград чугунных вечность,
Литья восторг и страх
И звёзд пятиконечье
На сталинских гербах, —
Полёт монументальный
Фантазии мирской
С диагнозом летальным
Державы мировой...

3

О память, ты постой-ка!
Я вовсе не в бреду
И мимо парка-стройки
Спокойно не пройду.
Здесь в юности далёкой,
Студенческой порой,

С девчонкой синеокой
Вдыхал его покой.
Здесь пил с друзьями пиво
У красного ларька.
Жизнь пенилась бурливо
От каждого глотка.
Здесь страшным фактом марта
Пронзил нас нервный шок,
Как африканец Мартин
Стал русским алкашом.
Уганды сын влюблённый,
Здесь он себе сыскал
В тоске неразделённой
Трагический финал.
С весёлой чёрной рожей,
Учтивый, полный сил,
Заезжим и прохожим
Бокалы подносил.
Средь глоданной тарани,
У столиков, где хай,
Мелькал его бараний
Облезлый малахай.

Мы Мартина тащили
В общагу, на этаж.
Бомжи нам вслед вопили:
«Свалите! Мартин наш!»

4

Прощай, социализма
Перебродивший дух.
Остатки атеизма,
Как тополиный пух,
Горячий ветер в мае
Подхватит, понесёт
В Уганду, к Парагваю,
В Париж или в Вермонт...
И трудный век безбожья
С явлением Христа
Уткнётся в бездорожье,
Как жухлый лист с куста.

2002–2003

* * *

Старый город.
Вертявые улочки.
Неподстриженных лип золотые чубы.
Запах сдобы из крохотной булочной —
Как подарок из детства для взрослой судьбы.

Медный колокол медленно вызвонит
Мелодичного строя сентябрьский покой.
Вечер яблоком солнце над избами
Перекатит в корзину зари за рекой.

Стройной девушкой в праздничной кофточке
Воскресенская церковь мила и светла.
И у Бога прохожий тихонечко
Просит град убережь от гордыни и зла.

2007

* * *

Суд небесный, суд земной...
Первомайский парк. Прохлада
Стелет первою листвою
Две дорожки у ограды.

Эта — к храму, к Богу, в рай.
Эта — смутною тревогой
Наполняет через край,
Не приблизив душу к Богу.

Взгромоздившийся на сук
Ворон мерит зорким оком:
В светлой блажи — божий суд
И людской — в тщете глубокой.

Колокольный медный звон.
Сладок утренника ладан.
Суд небесный — радость, сон.
Парк. Начало листопада.

2011

* * *

Бабочка-пальцекрылка — как Христос.
Крылья-руки распяла — знать, к чему бы?
Клён из-под прядей багряных волос
К небу-евангелию тянет губы.

Колокол грянул — гордыня прошла.
Что-то не так или так, как не надо!
Бабочка на коре — вразброс душа.
Ищет ли что у церковной ограды?

Сколько живу, не могу я понять
Смысл переменчивых пёстрых мгновений,
Где тебя бабочкой могут распять
Без обязательства на воскрешенье.

2020

* * *

Храм Покровский. На морозце
День в сугроб румянцем влит.
Снегири как богомольцы —
В липах с песнями молитв.

Я и сам, подобно птицам,
Слыша звон колоколов,
Целый день готов молиться
В искупление грехов.

От земных недугов средство —
Небо в росписях лучей...
Знаю, легче станет сердцу
От молитв и снегирей.

И над всем далёким прошлым,
Над грядущим вещим днём
Кружит лёгкая пороша
Красногрудым снегирём.

2022



В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ЕСЕНИНУ

Скажи, Есенин, почему — Воронеж?
Твоих кудрей наш ветер не трепал.
В аллее лип под выкрики вороньи
Ты не признался, как сюда попал.

В донской волне не остужался сердцем,
Не тёр в ладонях сытый чернозём,
И под тальянку местные невесты
Тебе не пели песен над ручьём...

Врастёшь ли статью в твердь степного края?
Вместишь ли грудью даль его и ширь?
Здесь тоже нет желаемого рая,
Есть только удаль страждущей души!

Транзитный пункт опальным вольнодумцам,
Попутный след отеческим певцам,
Воронеж, чаем напоив из блюда,
Всех дальше гнал — к кавказским небесам...

Ты не менял почтовых и двуколки
В краю кольцовском...

На стальном коне
Прогарцевал соседскою стороной
На встречу с ненаглядной Шаганэ...

И если вновь, Есенин, крикнет строго
С небесных врат тебе святая рать,
Останься здесь, и вдохновляй, и трогай,
Осенней веткой прикрывая прядь!

2006

МОНОЛОГ ПЛАТОНОВА

К 100-летию Андрея Платонова на главной улице Воронежа, проспекте Революции, был открыт памятник великому писателю с его знаменитым изречением: «...а без меня народ неполный!» Не прошло и нескольких лет, как буквы, отлитые из меди, были варварски сбиты и украдены.

Когда-нибудь вам так же бронзоветь
На мраморных основах пьедесталов,
И прошлым жить, и в новый день смотреть,
И ёжиться от дерзких рук вандалов.

И в поздний час, когда глубок покой
Забывтого Отечества родного,
Нести дозор всерьёз, как часовой,
Под бременем мгновенья рокового.

А как иначе, если мир живых
Несовестлив, и глух, и непотребен,
Коль нет в нём дат, имён, чтоб чтили их,
По ком служили в церкви бы молебен;

Кто б грел теплом от собственных сердец
Сердца других, кому ещё родиться,
В свои вживив минувших лет свинец
И дней грядущих злые небылицы?..

Пускай потом с печальных лип листва
Устелет тленом мраморные плиты,
Пусть будет непокрытой голова
И вера в сердце — раною открытой, —

Среди гостей, и роз, и хризантем,
Дежурных фраз, — экскурсовод невольный,
Захочешь вдруг, чтоб помянулись всем
Слова: «...а без меня народ неполный!»

2001

* * *

В.М. Попову

В музее Никитина, в зальчике душном,
Коллегам по цеху — писателям-профи —
Чиновник наивно распахивал душу,
Читая стихи про любовь, про эпоху,
Про вздор философский, про грусть листопада,
Про родину в горькое время распада...

Он числился членом того же союза,
Но русскому слову служил на досуге.
И, зная про эту особенность, муза
Ему ненавязчиво верной подругой
Была в повседневном чиновничьем деле,
Чтоб чувства и мысли в нём не оскудели.

Но снобы из профи коварны — и хлётко
Лишали поэта-чиновника права
Любить и страдать, прикасаться к берёзкам
И честно трудиться во славу державы...
Со стен молчаливо взирали портреты
Крылова, Державина, Тютчева, Фета...

2004

МОЙ КОЛЬЦОВ

По берегам степной речушки Красной,
Где тальники, обрывы, резеда,
Зачем ищу, спустя два века, страстно
Следы того, кто здесь гонял стада?

Можайское, Запрудское... А выше,
Туда, к истоку, птицей из-под ног
Степного ветра в травяном затишье —
Село моё родное Красный Лог.

Простор, простор течёт под роговицу
И вдохновеньем обжигает грудь.
Хоть пей и пей его, а не напиток,
А коль напьюсь — мне больше не вздохнуть!

Что если правда: от Смычкова лога
К Дурному логу он, сам-друг Кольцов,

Околицей, нехоженой дорогой
Шагами мерил край моих отцов?!

Ночь бугаём сопела в зыби мрачной.
И языком костра с горячих губ
Стада созвездий слизывали смачно
Кольцовских песен неземную глубь.

Прими, Воронеж, дальний свет с востока
И звуки песен из степных глубин,
Ведь то не ветер над речной осокой —
Поэта голос с дремлющих равнин.

2009

* * *

Домик Буниных, вяз, виноград,
Куст шиповника сбоку окна...
Я, наверное, этому рад,
Как дитя после долгого сна.

Вот дорожка сбегает во двор,
Поздним яблоком катится в сад...
Дворик тесен, а сердцу — простор:
Нет душевных незримых преград.

Домик Буниных — случай, мечта?
Чей-то зов, переключка времён?
И сирень обронила с листа
В эхо лет золотой медальон.

2009

В САДУ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Старинный сад — заброшенная сотка
Земли, питавшей чудными дарами
Не где-нибудь, в краю глухих селений,
А в двух шагах от улицы центральной,
Где каждый метр земли буквально дышит
Историей Воронежа...

На зависть

Редчайшими представлен сад сортами,
Таких на рынке в наши дни не купишь...
Здесь всё в едином торжестве и страсти
Переплелось, срослось и совместилось
В ветвях, сучках, побегах, сухостое;
Здесь сливы, вишни, бузина, шиповник,
И яблони, и груши вместе с вязом
И с клёном, с диким виноградом даже
Миролюбиво устремились к солнцу...
Рассказывают: этот сад ничейный
Сажали вновь в войну, когда изгнали

Из города фашистов в сорок третьем,
За исключением двух кавказских сосен:
Их раньше, в девятнадцатом столетье,
Взрастили, может, Бунины...

Вот так-то!

Старинный сад...

Октябрь, покликав ветер
В проулках, с вяза, клёна, винограда,
Со слив и вишен, с бузины и яблонь,
С шиповника и груш листву стрясает,
Чтоб всё это цветастое убранство,
Устав от повседневной тяги к солнцу,
Нашло приют в большущей рыхлой куче —
Под соснами кавказскими, к забору...

Старинный сад...

Дом Буниных...

Как странно

Себя здесь ощущать средь запустенья,
Средь окаянных будней межсезонья...
И лишь тропа в густой листве приметна.

2009

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА ЛЕРМОНТОВА НА КАВКАЗ. 1841 ГОД.

Пусты дороги Черноземья.
Печален юноша-гусар.
В походном скарбе — груз презренья,
В душе — священный неба дар.

Ужель поэт в России — странник?
Иль званья все в одном сошлись:
Избранник — то же, что изгнанник?..
Иных судеб не терпит жизнь!

Неспешна музыка степная.
И далеко ещё Кавказ.
И в небе тучка золотая
Торопит к югу тарантас.

«Прощай, немытая Россия...»

И степь лазурная, прощай!

Донской волной плеснул над синью

И скрылся в дымке милый край.

«Монго, Монго, мой друг прелестный!

Тоска на сердце, как свинец...

Ужели тучкою безвестной

Мелькну в лазури — и конец?!»

Весна не лечит ран душевных

И даль теснит тревогой грудь...

«Монго, я — брат сих тучек бранных!»

Воронеж... Степь... Последний путь...

2012

* * *

Жить у памятника Маршаку —
Не случайность, скорей удача.
Там две горлицы на суку
О людской суете судачат.

Там качает берёзы лист
В златожилой смешной ладошке
Паровозиков детских свист,
Разукрашенный домик Кошкин.

Там дворовые сквозняки
Мягкой тряпицей из тумана
Трут на памятнике очки,
Чтоб смотрел на мир без обмана.

Там девчонкою-стрекозой
Днём и ночью порхает вечность,
Не пустив к себе на постой
Чёрствость душ и сердец беспечность.

2015



СНЕГОПАД

С высоко поднятой головой
иду по родному городу.
Чувство одно:
переполняет страх,
Не слетит ли с карниза сосулька
на голову.

Ладно бы,
на улице Карла Маркса
Или на улице Фридриха Энгельса
Не чистили тротуары,
Тут,
как говорится,
идейное...

Снег
у памятника Никитину...
Снег
у памятника Кольцову...

А поэтов,
скажите,
за что?
За мужицкое происхождение?

Тогда объясните
идущему
С высоко поднятой головою,
Почему не убирают снег
У памятника Мандельштаму?

Знакомый литературовед
С высоко поднятой головой
Говорит:
— Ответ у Осипа Эмильевича:
«Я около Кольцова... закольцован».

Противоположности притягиваются
В незащищённости перед стихией...
Возле памятников не метут:
Слово
опаснее снегопада.

2017

* * *

С Проспекта Революции
Сверну на Карла Маркса.
Дома друг к дружке жмутся там
В свободных узах братства.

Пройдусь в плаще расстёгнутом,
Не надувая щёки.
Припомню Славку Дёгтева*
У старенькой хрущёвки.

Он жил в бунтарском равенстве
С эпохой баламутной.
Кому-то и не нравился,
И нравился кому-то.

* Вячеслав Иванович Дёгтев (1959–2005) — воронежский и российский писатель.

Всех уравнила улица,
Как в новомодной пьесе:
Мента, студента-умницу,
Мажора в «мерседесе»...

В мгновениях прогулочных
Нагонит ветром мысли,
Что мы в названьях уличных,
Как в чьих-то снах, зависли.

2020

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ

*(Памяти воронежского писателя
Виктора Никитина,
ставшего жертвой ковида)*

Что-то тёмное тогда в голове мелькнуло поверх скучных, обыденных мыслей, вытянутых в напряжённую нитку, как будто над головой раздался шелест, и показалась тень большой, наполовину знакомой птицы, она накрыла его, и он приостановился, чуть не выронив от неожиданности папиросу. Да, тень — это слово легко ложится на всё необъяснимое, на всё тревожное. Вроде бы знаешь, что птица, но какая? Поднял голову — и ослепило; исчезло прикосновение чужого воздуха, как чужого плеча, и тёмное пятно растаяло под прямым, ослепительно жарким углом солнца. Он ничего тогда не понял, но уже насторожил. Что-то произошло...

Виктор Никитин. «Исчезнут, как птицы»

Исчезаем, как птицы,
На лету, на лету...
Если солнце и снится —
Тенью лишь на свету.

А в остатке — улыбка,
В соцсетях пара строк
И живительно-зыбкий
Кислородный глоток.

Кровь не бьётся по жилам,
Вязнет где-то внутри,
Будто птицы сложили
Крылья новой зари.

Положительно-ложный
Мир летит в кавардак.
И вдохнуть невозможно,
Да и выдохнуть как!

Бездыханные птицы
Засыпают в груди...
Если солнце нам снится,
Что же там, впереди?

2020

ЗВОНОК

С.И. Рудакову

Знакомый профессор звонил на мобильник.
Профессор — философ, а в жизни политик:
Три срока уже депутат в местной думе,
Он духом советский, партийный, со стержнем,
И взглядов своих не меняет с годами.

Морозец. Декабрь. Вместо снега — пылица.
Погодка, однако! Сюрпризы, капризы...
С чего же ещё начинать нам беседу?!
Погода — она и в Париже погода
И повод отличный винить потепленьё
Глобальное... В детстве ведь было иначе:
Сугробы до крыши, мороз на Крещение,
В апреле разлив, дня на три ледоходы.
Река, просыпаясь, гудела, как трактор,
Себя очищала в потоках от хлама,

И всё, что вмерзало, огромные льдины
От русла несли по воде к луговинам.
Сегодня не встретишь уже ледохода,
Где луг был — болото, камыш да осока...
Рельеф потепленья — оскал глобализма,
Калечит природу, меняет пейзажи,
Рвёт в клочья традиции, память и души.
Какая культура? Какое искусство?
Они не помощники в поисках смыслов.
И нет объективной реальности больше
В поэзии, прозе, театре и фильмах,
Лишь едкая пыль постмодерна и скуки.
Везде во главе пирамиды творящей —
Ваятели квестов, пороков, бесстыдства
С мошонкой, прибитой к кремлёвской брусчатке...

Профессор расстроен, как древняя арфа:
«Однажды коллеге из Санкт-Петербурга
Показывал город. Мы шли по проспекту.
— А это не Бим Троепольского* разве?!

Гость долго крутил головой, изучая
Пустынную площадь напротив театра.
— А автору памятник где же? — спросил он.
И я ступешался, представь, как мальчишка,
Твердил: Бим — детишкам подарок, но скоро,
Возможно, откроют писателю тоже...
Гость с юмором был и заметил с улыбкой:
— Типичный сюжет, когда помним героев,
А кто их придумал, спроси — не ответим.
Для автора это — вершина признанья!»
Профессор ругнулся не то чтоб отборно,
С оглядкой на статус, и вдруг: «А ты слышал:
За хлебозавод Шаргунов** заступился...
Жаль, поздно схватились: трубу развалили
И мельницу также — остались руины».

Во время беседы с профессором грустно
Смотрел я в окно, наблюдая за стройкой.
Плевать на мороз — громоздили высотку
На месте, где раньше была мыловарня:

** С.А. Шаргунов — российский писатель, депутат Государственной Думы России.

Её возвели в девятнадцатом веке.
Я помню те зданья: кирпичное чудо
Фасадов, фронтонов, узорчатой кладки —
Пример мастерства, обращённый в искусство
На радость живую для глаза и сердца...
Теперь же тут кран одноногий топтался —
Оловянный солдатик эпохи наживы.
Поодаль, за краном, у кромки этажной
Опасно крутился вихрастый парнишка
С мобильником, делая селфи на память.
Он тоже — творящий, ваятель, пуп мира...

...Зачем же звонил мне сегодня профессор?!

2020

ОКОЛО КОЛЬЦОВА

Привет, Кольцов! Молчишь себе, а зря.
Мне грусть певца — почти ножом по горлу.
Я тоже не восторженный, не гордый,
И даже хмур, как ветер октября.

Нам всем сегодня важно говорить,
Хотя бы жестом, словом и от сердца.
Другого Бог нам не оставил средства,
Чтоб братской крови в ссоре не пролить.

Среди утех безудержных и войн,
Среди любви, предательски натужной,
В мятежный омут погружает глубже
Не крик вороний — орудийный вой.

Мечтал вдвоём в воронежских степях
Пройтись с косою под песню жаворонка
По мураве, но на душе — воронка
И чей-то не остывший в муках прах.

Мне твой бульвар — прифронтовой рубеж,
Мне песнь твоя теперь — передовая...
И я иду, тебя не предавая,
И не готовлю для других мятеж.

2023

ПЕЧАЛЯТСЯ КОЛОКОЛА

Памяти И.И. Евсеенко

«Иду вчера по Карла Маркса. Иван Иванович на лавочке сидит, кепку на колени положил. Солнышко. Листья кругом жёлтые. Колокола на церкви позванивают... Увидел меня, заулыбался грустно и рукой машет:

— Иди-ка, Оля, посидим, за жизнь поговорим...»

(Из разговора сотрудницы журнала «Подъём» с коллегами)

В этом году мой товарищ опять звал меня провести отпуск у него на родине. Материнский его дом по-прежнему пустует. Я поначалу дал согласие и даже стал собираться в дорогу... Но потом во мне опять что-то надломилось, дрогнуло... Я отказался и не знаю, поеду ли ещё когда-либо туда, в Ближние и Дальние Луга, на порубежную Украину, где так печалются и не затихают в печали колокола...

Иван Евсеенко. «Пока печалются колокола»

Мне слышен этот звон. Печалются они,
Колокола, его колокола.
Поверх земной оси, внутри людской возни
Гудят, чтоб жизнь осмысленней была.

Гудят они, гудят — за домом, за углом
И в тихом парке, там, где листопад.
Печалются — зачем, печалются — о ком
И почему так часто невпопад?

Хоть уши затыкай: печалются — и всё!
И нет спасенья от наплыва чувств.
Гудят — и тонет, тонет в звоне бытиё,
В которое уже не возвращусь.

Глаза зажмурю я — и мир наш неделим:
Писатель в парке, и листва желта...
«Иди-ка, Оля, посидим, поговорим,
Покуда стрянет смерть в мотках бинта».

Нелепой грустью, осень, сердца не пугай:
Листва не все тропинки замела...

А что колокола печалются — пускай,
На то они его колокола!

Печалются они, кто как бы ни хотел.
Писатель ловит их тревожный бас...
И, может, хорошо, что рядышком присел
С ним на минутку хоть один из нас.

2024

И СНОВА ЗАХОЧЕТСЯ В АННУ

В.И. Жихареву

А что если плюнуть на зиму,
На снег, на дорогу в сто вёрст
И — в Анну, к той жизни незримой
Дворянских угаснувших гнёзд?

Представить для важности пущей
Компанию русских певцов,
Чтоб Лермонтов был там, и Пушкин,
И, может быть, также Кольцов.

Вломиться незвано к графине —
Любимице Ростопчиной.
Пригубить вина из графина,
Из блюдца — отвар травяной.

Манить Евдокию Петровну
В Воронеж, Москву, на Кавказ
И видеть, как в свете неровном
Слезинки сияют у глаз.

От гордости женской, смущенья,
От долгой разлуки она
Прочтёт им свои посвященья,
Задора и счастья полна.

Украдкой вздохнёт — чтоб не слышно,
И губы прошепчут, любя:
«Ну как же так можно? Как вышло,
Что мы потеряли себя?»

И будут метельно кружиться
На радость ли чью, на беду
Залётные годы — как птицы
В заснеженном барском саду.

И чем-то далёким, желанным
Дохнёт горячо-горячо...
И снова захочется в Анну,
А может, ещё и ещё.

* * *

Узкий двор. Дом-музей Никитина.
Снег неспешный и птичий след...
Если можете, объясните мне,
Нужен ли в век IT поэт?

Тишина, как в святой обители.
Нет тут времени. Сон. Игра.
Галки шлёпают в серых кителях
По былью в глубине двора.

Кружит снег... На граните надписи.
Жаль, не скажут они о том,
Кто бы мог спасти от напасти нас —
Быть мирской суеты рабом.

Ель склонилась к Ивану Саввичу,
Шепчет, будто бы жив поэт...
У Никитина я и сам хочу
Всё понять и узнать ответ.

2021



ВЕЧЕР В СОЮЗЕ КОМПОЗИТОРОВ

(ул. К. Маркса, 41)

Л.В. Вахтель

Порхнёт румянец щёк с мороза
И освятит в крещенский час
Волшебной нотой Берлиоза
Шальные пальцы виртуоза,
Весь день скучавшего без нас.

Не ради славы и каприза
На улочке, что названа
В честь основателя марксизма,
Кружит бетховенской репризой
Снежинка около окна.

В рояльном колдовстве сюиты
С горящим взглядом молодёжь
И седовласые пииты
Внимают звукам именитым,
С волнением сдерживая дрожь.

В саду синицы скачут стайкой —
Аккордам в такт и в такт сердцам...
Гостеприимная хозяйка,
Взглянув на божьих птах утайкой,
Из Шумана играет нам.

Мороз и музыка — харизма,
Мороз и слово — вечный жанр
И для фанатиков марксизма,
И для фанатов модернизма,
И для обычных горожан.

2014

* * *

О чём ты, скрипка, плачешь на бульваре?
Листвой опавшей плавится заря.
Твой музыкант, подобно сталевару,
Смычком вздувает пламя октября.

Приткнуться негде звуку на манеже:
Оркестр бульвара — домны жаркий гул,
Твоей струны отточенную нежность
Он языком пылающим слизнул.

Ты, скрипка, плачь, не оставляя муки,
Октябрьской сценой зрителей конфуз!
Всё переплавит осязанье звука,
Кипящей сталью влившегося в пульс.

2006

* * *

В цветной накидке формы паруса,
В высокой шляпке перьевой,
Вплывёшь ты в переулок Штрауса,
Где в нотах всяк — ни в зуб ногой.
Там, за штакетником некрашеным,
Перед девицами вальсируя,
Толпа обритых однокашников
Попсою молодость насилует.

Минуя их, свернёшь на Пестеля...
А над кирпичною трубой,
Беззвучной песней небо пестуя,
Старинный флюгер жестяной
В предназначении общественном,
Столетней ржавчиной источенный,

Себя не чувствует ответственным
За направление ветра точное...

За иностранными и странными
Пойдут (и вовсе уж чудны!)
С оттенками провинциальными
Названья местной старины.
Плутая в них, из перьев страуса
В высокой шляпке, неуместная,
Забудешь прелесть вальсов Штрауса
И вдохновенный образ Пестеля.

2006

* * *

Вьюга метёт — волнуется.
Дышит сквозняк в дюраль.
Школьниками кучкуются
Улица и фонарь.

Чист ли душой, греховен ли,
Вечному присно быть...
Музыкою Бетховена
Вихрится неба зыбь.

За переулком, к пристани,
В краешек бытия
Душу, как гамму, втиснула
Партия февраля.

Снежная мгла пуховая,
В каждую щель входи!
Слушаю я Бетховена —
Буря в моей груди.

2007

СТИХИ У КАРТИНЫ

С.П. Гулевскому

Синий куст и небо синее,
И из сини бытия
Что-то вечное и сильное
Растревожило, клубя.

Как во что-то неизбежное,
Обронил художник кисть,
И пошли гулять мятежные
Краски, еле улеглись.

Их сменили ветры звучные,
Оживил их синий край
С речкой, берегом и тучею,
С голосами птичьих стай...

И томилаь акварелево,
Свет и тень перемешав,
В этом зыбком синем времени
Чья-то чуткая душа.

2015

* * *

В.Д. Лютому

Книга новая на тачке.
Типография. Мороз.
Осторожно носим пачки,
Как букеты хрупких роз.

Парень в шапочке — завскладом,
И водитель — давний друг.
Запах краски хоть не ладан —
Всё равно целебный дух.

Будто мы на шаг, но ближе
К Богу, истине, земле...
Нам бы больше умных книжек —
Не блуждали бы во мгле.

Души чаще б крепи в вере,
И в сердцах царил бы лад...
Распахнулись настезь двери —
Озарило солнце склад.

Грузим пачки — жар по телу.
И куда пропал мороз?
Не помеха холод делу,
Если в книге всё всерьёз!

2021

* * *

Е.Г. Новичихину

Внучка просит деда — огоньки из глаз:
— Можно я поеду тоже на Кавказ?

Дед — поэт на деле. Смеет ли претить?!
И не жалко денег внучку прокатить.

От Придачи скорым поездом — с руки,
Через степи, горы — и в Ессентуки.

Кисловодск, Минводы... Даже не гадай!
Этот край природы — для поэтов рай.

Спуски да подъёмы, неба окоём...
В веке неуёмном так ли все живём?

Вон Эльбрус в папахе, в бурке вон Машук.
Лермонтову прахом камень каждый тут.

Гениям же пули не страшней, чем ложь...
Что ж, взгрустни, лапуля, вырастешь — поймёшь...

И, пока глядели, были солнце, зной,
Вдруг, как в день дуэли, — дождь с небес стеной.

Знак или примета? Кто же разберёт!
Здесь душа поэта в вечности живёт.

Мчит по небу тучка — божий тарантас...
Съездит с дедом внучка на Кавказ не раз.

2021

УЛИЧНЫЙ ГАРМОНИСТ

На углу Комиссаржевской
Вдоль пилястр кинотеатра
Ходит люд, мужской и женский,
То туда, а то обратно.

Ходит, думает о всяком:
О плохом, и о хорошем,
И о том — пора бы слякоть
Заменить уже порошей...

В перекрестье судеб встречных
В тёмной курточке кургузой
Гармонист поёт сердечно
Песни бывшего Союза.

Токарь высшего разряда
С оборонного концерна —

В горбачёвскую разрядку
Для державы стал неценным.

Слава улиц — мёда ложка.
Нет обид на век коварный.
Даже рад, что на гармошку
Поменял станок токарный.

Он по кнопочкам пройдётся
И зальётся баритоном.
На столбе фонарь качнётся,
Вспыхнет ярче на полтона.

Мастер уличного пенья
Ладит гаммы, как детали:
В общей массе — для веселья
И отдельно — для печали.

Сохранил он честь и душу,
Пережил позор и беды...
— Спой-ка, батя, про Катюшу...
— Не-е, сперва про День Победы!

2023

ПОРТРЕТЫ

Евгению Щеглову

Когда вдохновенье снимает запреты
На чашечку кофе, на сон, променаж,
Тотчас в мастерской оживают портреты
И пёстрой толпой обступают пейзаж.

На фоне речушки и синего неба,
Под сенью желтеющих русских берёз
Не просят ни зрелищ они и ни хлеба,
А лишь осознания, что всё здесь всерьёз.

Они не кричат и не машут руками,
Не требуют больших свобод и ролей,
Друг с другом беседуют мирно глазами
О том, что всего в этой жизни ценней.

Пусть мы не прочтём их портретные мысли,
Но чувству границ в ощущениях нет.
И плещется страсть в поднебесные выси,
Где звёзды мазками ложатся в сюжет.

И вечностью веет от купола храма.
Противится сердце забавам пустым...
Портретный народ в очертаниях рамок
Совсем не скучает по братьям живым.

Наутро художник своё вдохновенье
Вернёт по привычке за старый мольберт...
На кончике кисти застынет мгновенье
В надежде, что новый родится портрет.

2024



* * *

Вместе с дождями
и пух тополиный сошёл незаметно!
Даже сосед не успел прикрепить
к радиатору марлю.
Будто и жизнь не пушилась,
назойливо в ноздри не лезла,
Не досаждала спешащим,
жующим
и любящим в парке
И не клубилась,
не вихрилась
в пыльных следах легковушек, —
Плюхнулась целыми гроздьями,
чтобы с потоком всосаться

После недавнего ливня
в глухую утробу колодцев,
Булькнув с досадой
про скорый конец тополиного пуха.

2001

* * *

Печали нет, есть грусть невоплощёнья!
И дождь, и шаг с опаской — за бордюр,
И в свежих лужах неба отраженье
Шикарней, чем у модниц маникюр.

И тополь в парке — кучерявый пудель,
Взъерошенный, испуганный и злой,
Осыпан весь пушинками, как пудрой,
На фоне церкви светло-голубой...

Я зря спешил, не принимая сути
Явлений, лет и собственного «я»,
То сердцем окунался в омут мути,
То грех смывал под струями дождя.

Вдруг кто-то в этот миг во мне нуждался!
И чувствовали женщины спиной,
Как к ним по лужам взгляд мой устремлялся,
Подвигнутый лавиной дождевой.

Был неуклюж мой выход к соучастью.
Томилась влагой летняя земля.
И солнца луч невоплощённым счастьем
Едва из туч вытаскивал себя.

2004

* * *

Твой липовый город,
где липы —
лепниной на фоне фасадов,
Где сам ты,
как липка,
ободран,
пропитан асфальтовым чадом;
И где у фонтана студентки,
напротив университета,
Пьют пиво из пластика в тёмных аллеях
вне зон этикета
И смачно плюют на окурки
горчащей суспензией пену
Минуты за три
до окончанья
самой большой перемены.

Твой липовый город,
где цвет
прилипает к щекам тротуара,
Где ты без любимой —
как ветка в руке незнакомки с базара,
Затискан,
залапан
липучими пальцами на солнцепёке
И вышвырнут
вместе с обрывком страницы
из доктора Спока.
Лишь губы лепечут куплет
о деревьях с названием скверным...
И нет у истории этой конца.
И не будет, наверно!

2006

* * *

Часы под шпилем башни
Торопят полдень в тень.
Карниз многоэтажный
Сполз кепкой набекрень.

Под оком телевышки,
Хлебнув частотный вар,
Асфальтовой одышкой
Страдает тротуар.

На улицах от пекла
Любая настезь дверь,
Скребёт с подошв проспекта
Гарь летних атмосфер...

Хоть сыт, хоть свят, хоть грешен,
У знойных сил в плену,
На хрупкий стан аптекарш
Переложу вину.

2007

УЛИЦА ХУДОЖНИКА БУЧКУРИ

Густые чаи и морозное эхо
Январского снега, девичьего смеха.

И к юности зависть, и завязь зари
Над улочкой, названной в честь Бучкури.

И утро в неузнанной памяти сердца
Ложится мазками в надежде согреться.

И гаснут в полотнах зари фонари.
И голос в калитку: — Мужик, прикури!..

2012

КАШТАНЫ

Плюхнись, сентябрьская спелость, каштанами,
Выкатись с гиканьем на тротуар,
Будто чумазая и голоштанная
Сотня малюсеньких Килиманджар.

Все мы корнями оттуда, из Африки...
Все мы каштаны — сдери кожуру,
И обнаружится без географии
Близость по духу и край по нутру.

Знает нас осень, мудрейшая тётенька:
С ветки стряхнёт, не посмотрит на сан —
И кто родился плюгавым и кротеньким,
И кто в дородный сложился каштан.

Радуюсь чуду наивно и искренне.
Дни урожайные — срок, а не страх.
Лучше ли разве каштаны парижские
Тех, что в воронежских зреют садах?

В тайном родстве, как язычник для суженой,
На обереги сую их в карман...
Зрелость сентябрьская — правда досужая:
Падает, падает спелый каштан.

2013

* * *

День — по ступеням, а темь — по дворам...
В городе привкус времён переменных.
Юность пушинкой вчерашней к губам
Липнет на Пушкинской, возле пельменной.

Где тополя сорока сороков
В белом распыле бунтующей плоти?
Липы кругом, с их горячих листов —
Вязкая зрелость на автокапоте.

...Девушка в ситце напротив, компот
Из сухофруктов в стакане гранёном, —
Так завершался студенческий год,
По уши в девушку эту влюблённым...

Давнее счастье, как сытный пельмень,
Стынет на столике памяти бренной.
И продают в бутике дребедень
Там же, на Пушкинской, вместо пельменной.

2017

* * *

Пройди точку роста дневного сна
С четырнадцати до пятнадцати сорока
И тогда поймёшь, какова она —
Жизнь, где сороки накликают срока.

Не в провинциальной убогой мгле
От миллионника в двух сотнях звериных вёрст,
А здесь, у крана с бадьёй на стреле,
С кучами мусора в ней вразброс и внахлёт.

Тут же — крест-накрест и запросто сквозь
Среди рубероида, щебня — душа в тросах,
Чтоб не болталась от прочего врозь
И не срывалась, прогуливаясь в небесах.

Ей бы жить ниже, поближе к земле,
К собакам, кошкам, кузнечикам, даже червям,

Она ж рвётся вверх, чтоб пропасть во мгле
Космической агонии на радость чертям.

Раньше роща была, теперь вот дом
В двадцать три этажа — котелкой, как колбаса,
Двадцать четвёртый — безумцами неба слом
В мозгу с сорочьей песней на все голоса.

2018

* * *

Смотрю я за окошко,
Считаю этажи.
Ещё совсем немножко,
И небо — где, скажи?!

Рос тополь — ветка к ветке,
Поодаль — бузина.
Цементной пылью едкой
Их сень поглощена.

На сук не сядет ворон,
На ветку — воробей...
Душа крадётся воров
Среди сквозных теней.

Пройдёт ещё лет тридцать,
И удивится внук:
«А что такое — птица?
И для чего ей сук?»

2021

У ПАРКА «ОРЛЁНОК»

Как тонко, как нежно и чуточку нервно
На сером, что свитер, клочке тротуара
Пиликают скрипками около сквера
Кленовые ветки — влюблённые пары.

Ещё до цветенья — недели, недели.
Утрами трава серебрится рогожей.
Но клёны предчувственно не утерпели —
Играют, играют до дрожи на коже.

Народ поспешает не к речке, не к плёсу —
К вокзалу ж/д и Петровскому саду.
И вслед ненавязчиво льётся и льётся
Кленовая музыка вечного лада.

2019

* * *

Сенокос на авиазаводе...
По краям бетонной полосы
Рой бензокосилок хороводит
Под жалейки шмеля и осы.

Лайнером из мотыльковых крыльев —
Без пилотов, стюардесс, ремней —
Запах трав бежит всё торопливей
За пунктир посадочных огней.

Над тоннелем, улицей, киоском,
Над толпой из любопытных глаз
Он взмывает в небо по-геройски
Для миров посланником от нас.

В настроенье слаженно-куражном
В утренние майские часы
Небу, видно, тоже очень важно
Окропиться капелькой росы.

Ничего в том сенокосе вроде...
Отчего же всякий раз потом
Вопреки погоде и природе
Сердце в выси рвётся мотыльком?

2019

* * *

Живу, живу, не думаю о счастье,
Мету листву небрежным каблуком.
Мой зонтик бойко пляшет над запястьем
И щёки раздувает ветерком.

Он — щит небесный дождевым мгновеньям,
Он — божий купол от случайных лиц...
Ведёт меня по каменным ступеням
На улочках из былей-небылиц.

Там, за калиткой, чей-то голос нежный
Опустится с кленового листа:
«Давай, Андрюш, пройдемся по Манежной
До самого Чернавского моста».

Взойду на холм, окину взглядом берег
И чайкой покачаюсь на воде,
Чтоб, в счастье, будто в женщину, поверив,
Собой остаться всюду и везде.

Октябрь дождит, но чувства — о хорошем,
А о плохом подумать даже лень...
Мой зонт парит над будущим и прошлым,
Вдыхая полной грудью этот день.

2024

* * *

Белым днём у всего на виду
В тщетных поисках сытного времени
Ходят дикие утки по льду,
По прозрачному,
скользкому,
первому...

На мосту легковушек затор,
В любопытстве сердца сочленяются.
Чьи-то губы рождают восторг,
Чьи со страха ледками ломаются.

Полдень гадким утёнком с тоски
Поспешает на выручку с берега —

Тенью зыбкою лечь у реки
Через лёд
молодой,
неуверенный...

Я от зрелища прочь не уйду,
Совершая, как птицы, скольжение...
Чудо чудное — утки на льду
Щиплют собственное отражение.

Пыль с холмов на версту. Ни снежка.
И морозов напасть несезонная.
Но сквозь лёд прямо в души река
Вносит звоны свои колокольные.

2018

* * *

Зима. Пандемия. Народу негусто.
Метели сошли, зачастили дожди.
И красным горит светофорная люстра
Минуту, другую, а ты себе жди.

Скучает охранник у двери сбербанка.
Напротив задумчив гранитный Кольцов.
На красный плетётся дремучая бабка,
За ней — пять бездомных всклокоченных псов.

Водила на «Ладе» сигналит до визга,
Крутой внедорожник идёт на вираж.
И лишь дальнобойщик жмёт тормоз без риска,
С улыбкой взирая на милый пассаж.

Смешно или грустно — картина такая.
Всё свалено в кучу мгновеньем одним.
А красный горит и горит, не сгорая.
И мы истуканами в масках глядим.

2021

* * *

Город метельный — полярный медведь,
Диво лохматое с пастью как жерло.
Время охотиться, время звереть,
Время назначить священную жертву.

Если уже по-другому нельзя,
Если до спазмов — мотор под капотом,
Души, как шины, по снегу скользят,
Режут шипами накат с разворота.

Нет перекрёстков и нет площадей...
Город бессилён, за час не растащит
Кучу малу из авто и людей,
Бранью пуляя из вкопанных «тачек».

Сытый зверина — из тысяч стволов
В тушу пальни ему — не шевельнётся.

Даже на небе не хватает богов,
Чтобы на выручку выкликать солнце.

Лишь Благовещенский храм в этот снег
В вечном своём поднебесном дозоре
Души спасает, как Ноев ковчег,
Не от стихии — от зла и позора.

Сутки буянит непрошенный гость,
Не выбирая дороги окольной...
Ходит народ прямым или вкось,
И в каблуках его — звон колокольный.

2023



НА АВТОСТАНЦИИ

Наши дни пошли по глобусу
За минутою минута...
С Димитрова мчат автобусы,
Каждый — заданным маршрутом.

До свиданья, кареглазая,
Неизвестная, как вечность!
Нам судьбою не предсказаны
Обязательные встречи.

За неонам автостанции
Будет образ твой рассеян
На неведомой дистанции
Суеюй земли осенней.

Но в предчувствии возможного
Карих глаз счастливый вечер
В душу мне глядит из прошлого
Обжигающе, как вечность.

1977

ОТЪЕЗД

Сладко-горький, как вино,
Поцелуй перед разлукой.
Ты в вагонное окно
Тянешь маленькую руку.

По перрону я бегу
И твои сжимаю пальцы,
От которых не могу
Я без боли оторваться.

Вот настал последний миг.
Смолк вокзал в прощальном гуле.
Пальцы тонкие твои
Из моей руки скользнули.

Только глаз тоскливый блеск
И гудка печальный посвист.
И слезой за синий лес
Покатился скорый поезд.

1975

* * *

Н.

Рука руки касается едва.
На нас глядит улыбчивый прохожий.
Ищу в себе шутливые слова.
О как они на шутку не похожи!

И всё намёки, всё издалека.
И, кажется, мы дружески болтаем,
Но глубиною сердца понимаем,
Что робок я ещё, что ты робка.

И в парке снег медлителен и тих.
И в глубине аллей фонарь далёкий.
И грустный он, и очень одинокий
В кругу собратьев радужных своих.

* * *

Н.

По привычке чиркну спичкой,
Будто путь свой освещу.
И в Отрожку электричкой
На свиданье укачу.

Долго будет свет перронный
Мне прощально вслед желтеть.
Будут люди из вагонов
Сквозь стекло на мир глядеть.

За окном сегодня густо
Пахнет тающим снежком.
И от этого не грустно,
Даже очень хорошо.

И легко, как никогда, мне,
Нет, совсем не потому,
Что спешу я на свиданье,
Может, к счастью своему.

Мне легко, что в электричке
Жизнь естественно течёт:
Злится, пьёт, теряет, ищет,
Плачет, мучится, поёт.

1978

* * *

Прожаренные солнцем, нагрянут ветры с юга.
Дождями смое с улиц больших снегов следы.
И за мостом Чернавским с холма на холм по кругу
Расплещутся знамёнами вишнёвые сады.

Ты снова станешь весел, улыбчив и доверчив.
Залечит в сердце раны черёмуховый дух.
Красивой незнакомке прошепчешь: «Добрый вечер!» —
И удивишься дерзости, произнесённой вслух.

Поймёшь простую истину: напрасная попытка
Схватиться за соломинку необратимых лет...
Трамвай прогромыхает цыганскою кибиткой
И где-нибудь на Газовой свой затеряет след.

Махнёшь рукой, отчаявшись без злобы на минуту,
Поправишь аккуратно свой поределый чуб
И вдруг в сердцах спохватишься: тебе не по маршруту,
Свернёшь за остановку, минуя парк и клуб.

На улочке приветливой — с весенней стрижкой липы,
А на каштанах свечки, как на матросах клёш...
И будут ветры с юга стучаться в окна лихо,
И будет всё обычно, как ты всегда живёшь.

1987

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Мне запомнились ваши глаза,
Зонтик в клетку и тонкие руки.
Под раскидистой липой гроза
Познакомила нас для разлуки.
И ушла через парк, что есть сил
Бормоча на небесном наречье...
Почему я у вас не спросил
Про возможную новую встречу?
Город свежестью пах. И сирень
Отрясала с соцветий дождевки...
Уходили и вы. Даже день
Уносил свою тень по тропинке.
И хотя в дальнем эхе гроза
Не пугала ухмылками молний,
Всё мне чудились ваши глаза
И испуга отвесные волны.

1993

* * *

На безлюдной встречаю тебя остановке.
Ветер гонит листву вдоль бордюров косых
И теряется в гулких проулках Чижовки
Среди тесных построек и взглядов чужих.

Буйство осени раннее не беспредельно,
Разнесёт по листку и любовь, и тоску.
И в какой-нибудь хмурый сырой понедельник
Обнаружим, что голо вокруг за версту.

Только ты и моя меж фасадов фигура.
Только я и твоё в напряженье лицо...
Ветер нас — два листка — унесёт от бордюра
За глухие заборы под чьё-то крыльцо.

1996

* * *

Наташе

Я тебя уводил
Под сияние ранней Венеры
В перламутровый сумрак
Высоких январских снегов
На другую планету,
Где ставят на сценах премьеры,
И, душой не кривя,
Не имеют у локтя врагов.

Уводил от друзей
Под обидные чёрные взгляды,
От манерного слога Бальмонта,
От библиотек, —

Под лучи фонарей
На аллеях Кольцовского сада,
Чтоб искрились сердца,
Обжигая наскучивший век.

И ты шла, не противясь.
И пели снега на морозце.
И клубилась порошей
Вчерашняя юность у ног.
Я тебя укрывал от прохожих в пальто,
Словно солнце...
Я тебя уводил...
Неужели такое я мог?!

1998

* * *

Ты мне понравилась сразу,
но я почему-то знакомство воспринял
как шутку.
Думал, что в парке листвой пошуршу тебе
пару незначащих фраз о любви,
Прыгну в знакомый троллейбус
у башни с часами,
игриво взгрустну на минутку,
Двери захлопнутся —
я из окошка
пошлю поцелуй свой прощальный:
лови!

Та неуместная шутка
во мне обернулась
страданием на годы разлуки.

В тщетной надежде
тебя лихорадочно
в парках,
театрах
и вузах искал.
Листья не раз облетали,
спускались в ладони
и жгли моё сердце до муки...
Сел я,
как прежде,
в троллейбус у башни с часами,
а он свой маршрут поменял.
2001

* * *

Весь день метёт — и на душе отрада
От чистого, от белого, во что
Укутан парк Кольцовский, и ограда,
И женщина в оранжевом манто.

В ней, одинокой, вспыхнувшей мгновенно
Меж пышных веток, как густой огонь,
Привиделся твой образ сокровенный,
И ощутил я тёплую ладонь.

И загрустил, и вспомнил юность, вьюгу,
Как мы брели по парку в январе,
Одаривая с нежностью друг друга
Хвоинками в хрустальном серебре...

Оранжевая шубка с отворотом
Затмила всё, что было на виду,
И вдруг исчезла с первым поворотом...
А я за ней как будто всё иду!

2012

* * *

Снег сегодня, вчера —
Над гербом, над крестом,
Над десницей Петра,
Над Чернавским мостом...

Снег — слова невпопад,
Снег — ладошки к щекам...
Снег не знает преград
На подлёте к сердцам.

Снег губами ловлю,
Словно в юности, я.
Снег я просто люблю —
Как тебя, как тебя.

Там, где были пусты
Остановки, ларьки, —
Только я, только ты,
Только наши зрочки.

Снегом кружат года
В этот миг, в этот час.
Снег — любовь навсегда
Лишь для нас, лишь для нас.

2022

ДОЖДЬ НА ПЛОЩАДИ ВОЖДЯ

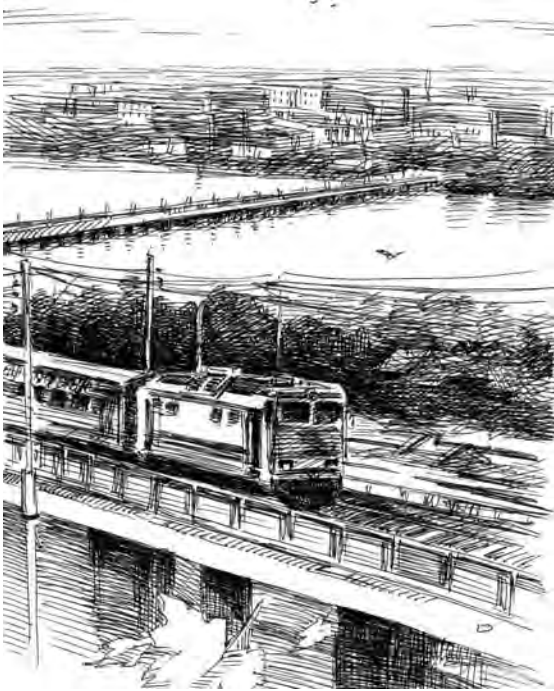
Стремительна, порывиста, вихраста,
Не женщина — всплеск молний, шум дождя,
Она идёт, прочерчивая властно
Диагональ по площади вождя.

Шарахается ветер от кокетки,
Боясь под зонтик в рабство угодить.
И только вождь сжимает крепче кепку,
Жалея, что не может рядом быть.

В весёлом платье из больших ромашек,
Где каждый лепесток — как поцелуй,
Она вождю игриво ручкой машет,
Прервав на миг полёт небесных струй.

Не зная революций и баталий,
Она идёт, чтоб в мире площадей
Ромашками улыбки расцветали
На строгих лицах бронзовых вождей.

2023



* * *

Владимиру Пронскому

Возвращаюсь по сумрачной рани.
Двухэтажный экспресс скор и хмур.
На туманном перроне Рязани
Две минуты всего перекур.

Затянусь — и в вагон по ступеням
К чашке чая, газете, теплу.
За Рязанью пожалует темень,
Постучавшись дождём по стеклу.

Принимая как должное морось
С промелькнувшим в окне фонарём,
Поудобнее в кресле устроюсь,
Буду думать о чём-то своём.

До Воронежа вечером мглистым
Рельсы сон мой в труху перетрут...
Поезд — рай для непознанных истин,
И понять их поможет маршрут.

2016

* * *

От границы липецкой к ростовской
Здравствуй, путь мой — с севера на юг!
По просёлкам стороны отцовской
Совершить успею за день круг.

Путь туда — на солнце до зенита,
Путь обратно — с солнцем на закат.
Вдоль моей наезженной орбиты
Дни и годы вымощены в ряд.

Путь на юг — по Дону, по теченью.
Лодочкой смолёной у костра
Так и плыл бы без сопротивленья,
День и ночь, с утра и до утра!

Так и жил бы — просто и беспечно,
С каждою былинкою в ладу,
То дымком клубился бы из печки,
То листком кружился бы в саду.

Так и жил бы в этом двадцать первом,
Будто в первом веке от Христа,
Насыщая душу, словно верой,
Шорохом прибрежного куста...

Путь обратно — ожиданье встречи,
Свет в окне и сладкий сон детей,
И жены усталый взгляд под вечер
С цветом глаз как пара сизарей.

До свиданья, знойный край ростовский,
Ковылей волнистая тоска!
Мне в Воронеж хочется чертовски
До звезды успеть наверняка.

2002

* * *

Подхвачу в охапку ветер,
Полечу... Земля моя,
Так никто тобой не бредил,
Не любил тебя, как я!

И насколько хватит глаза,
Места в собственной груди,
Ты во мне: и вся, и сразу,
Позади, и впереди.

От звезды на обелиске
До погоста за селом
Дальней памятью и близкой
Населяешь каждый дом.

На лугу росинку тронешь —
Отразишься в капле вся:
Гордым именем Воронеж,
Звонкой трелью соловья...

Быть в любви к тебе нескромным
И навязчивым боюсь.
Я, земля, твоим просторам
Лучше в пояс поклонюсь!

2007

Әсе



Странническая поэтическая судьба Кольцова, как и его великих современников, в век экспансии информационных технологий поучительна: она не дает нам оторваться от истоков, от почвы, не позволяет просвещенному цинизму и прагматической выгоде от всего выкорчевать из народной памяти корни нашей духовности и культуры. Особенно остро понимается это во время поездок по воронежской глубинке. Ни современные машины и агрегаты в поле, ни звук авиалайнера в небе, никакая другая деталь окружающего мира не способны компенсировать даже сотой доли настроения, которое мы получаем при общении с природой. Человек – природа – мир. Божественное триединство от Сотворения... Меняется материальная обстановка, на смену устаревшим приходят более усовершенствованные предметы быта, а человек, в сущности, остается собой: работает, гуляет, влюбляется, воспитывает детей, бывает – пьет, буянит и ленится. Ничего не поделаешь – это жизнь. Как во все времена. И во все времена у человека один и тот же проклятый вопрос: он над природой и миром – властелин или природа и мир – над ним...

Иван Щёлоков. «Вечные странники».

«И ДОРОГИ ИНЫЕ, И ПРИМЕТЫ НЕ ТЕ...»

*(Жанровое движение
лирики А.Т. Твардовского 30-х годов)*

Вместо предисловия

Автор знаменитой на весь мир поэмы «Василий Тёркин» Александр Трифонович Твардовский с ноября 1941 года по июнь 1942 года находился в Воронеже, будучи фронтовым корреспондентом. Редакция газеты Юго-Западного фронта «Красная Армия» располагалась в здании воронежского музыкального училища (проспект Революции, 41). В газете «Коммуна» в ноябре 1941 года (№№ 263, 264, 266, 270) были напечатаны произведения А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста», «Октябрьское письмо», «Великий коммиссар», «Письмо». В начале 1942 года в Воронеже был издан коллективный сборник «Фронтовые стихи» (редактор — воронежский писатель Максим Подобедов), начинавшийся подборкой А.Т. Твардовского. Примечательно, что в Воронеже в одном из стихотворений Твардовский дал своему лирическому персонажу имя Василий Тёркин, который впоследствии станет главным героем одноимённой поэмы.

В феврале 1951 года Александр Трифонович Твардовский в качестве кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР вновь посетил Воронеж, выступал в университете, ездил в районы. Воронежский писатель, а тогда журналист газеты «Коммуна» Николай Коноплин, сопровождавший знаменитого поэта, вспоминал о поездке в село Староникольское Хохольского района. Из Воронежа они с высоким гостем ехали до станции Кузиха на дрезине. Было метельно. Поэта ещё в городе предусмотрительно переобули в валенки. На станции их уже ожидали две тройки с бубенцами. «Ещё издалека, — писал Н. Коноплин, — съезжая с горки вниз, в село, увидели на белой сугробной площади чёрную движущуюся лавину — встречающих. Многие бежали навстречу — ещё в шинелях без погон, в латаных полушубках, какие там убранства в те тяжёлые дни! Старались разглядеть, в каких санях Твардовский... В кабинете первого секретаря райкома нас ждало всё районное начальство. Познакомились, присели. В открытую, украшенную леденцовым прозрачным ледком форточку, вместе с морозным воздухом врвался шум людских голосов с площади. Твардовский, указывая на запечатанную по-зимнему балконную дверь, вроде бы мимоходом поинтересовался:

— А можно её открыть?..

Он быстро вышел на балкон, сбросил шапку-ушанку, послышались аплодисменты, и один за другим два девичьих голоса выкрикнули:

— Александр Трифонович, накройтесь, простудитесь!..

— Александр Трифонович, пойдёмте с нами в Дом культуры. Почитайте стихи.

...Все заранее составленные графики встреч были тут же отмечены. Поэт отправился читать стихи жаждущим прекрасного людям...»

* * *

О стихотворениях Александра Твардовского, написанных в 30-е годы прошлого века, исследователи говорят неохотно, полагая, что в них мало авторской самобытности и собственно художественной ценности. Большинство из этих стихов с долей условности можно квалифицировать как лирические произведения. По жанровой форме они представляют собой рифмованные очерки, портреты, зарисовки, рассказы в стихах. Родство с прозаическими жанрами и послужило поводом к их негативной оценке. Стихотворения А. Твардовского 30-х годов (особенно первой половины) рассматривались как заготовки, наброски крупных эпических произведений.

К сожалению, это мнение живет и в наши дни. Одна из причин подобного взгляда на лирическое творчество А. Твардовского тех лет, по-видимому, кроется в том, что в литературоведении отсутствует единая точка зрения на жанровую классификацию поэзии вообще и двадцатого столетия в частности. Жанровые поиски, трансформация лирических форм в прошлом веке были особенно интенсивны, иногда воинственно-революционны в обращении с классическим поэтическим наследием. Нередко новаторство, лишенное художественного смысла и логики, доводило экспериментаторство до безвкусицы и пошлости. Однако присутствовало в нем и здоровое, рациональное начало, открывавшее новые горизонты поэзии. Заметную лепту в освоение этих горизонтов, несомненно, внесла советская поэзия 30-х годов, пополнившая арсенал лирических жанров. В этом смысле стихи А. Твардовского 30-х годов, не дотягивая до высокохудожественных,

ственных образцов, тем не менее способствовали обновлению и обогащению жанровых форм. Смешивая понятия субъективного и объективного, поэтического и прозаического, изобразительного и выразительного, его поэзия широко распахнула окна в реальный мир, и в нее мощным потоком ворвалась жизнь простого человека, грубая мужицкая действительность.

Видимо, рассматривая жанровое движение лирики А. Твардовского 30-х годов, необходимо исходить из справедливой оценки состояния поэзии того периода, высказанной некогда В.Д. Сквозниковым: «Лирическая мысль, подобно другим видам поэтической мысли, обнаруживает тенденцию ко все более синтетическому выражению».

В тридцатые годы страна коренным образом преобразовывалась. Решительно меняла облик деревня. В худшую или в лучшую сторону — вопрос исторической перспективы. Тем не менее, колхозная форма утверждалась повсеместно. Жизнь на селе, по выражению А.Твардовского, превращалась в одну огромную «строительную площадку», кругом вырастали «большие новые дома», и это происходило там, где недавно «дом попа и назывался домом, а церковь главным зданием была».

Особенно энергично менялась поэзия, изобилуя разнообразием лирических и эпических форм. Поэмы, баллады, оды, элегии, песни и т.д. уступали место новым, более мобильным, свободным от строгих классических канонов жанровым образованиям. Само время вторгалось в пределы традиционных, исторически сложившихся стихотворных форм, требуя раскрепощения, а отчасти и жанрового смешения, взаимопроникновения, стирания между ними четких

граней. Лирические стихотворения насыщались эпическими элементами; в свою очередь, поэмы, романы в стихах не ограничивались бесстрастным повествованием и охотно приглашали в союзники лирику. В статье «О жанровом своеобразии русской советской лирики 30-х годов» Л.А. Заманский писал, что это был процесс обоюдного союза, «обусловленный объективными жизненными обстоятельствами и собственно литературными тенденциями развития жанров».

Жанровая полифония, смешение родовых и видовых признаков, расширение стилистических и языковых границ щедро питали творчество советских поэтов.

Не остался в стороне от поисков своих форм и Твардовский. Первые поэтические опыты молодого автора — это горячие оперативные отклики на события сегодняшнего дня, облаченные в стихотворную форму. Сказывался опыт работы в редакциях газет. В стихотворениях конца 20-х — начала 30-х годов отчетливо прослеживалось стремление поэта примерять не материал к определенному жанру, а наоборот — жанр к материалу, и если выбранный вариант не подходил, все заново перекраивать. «То, что я знаю о жизни, — казалось мне тогда, — я знаю лучше, подробней и достоверней всех живущих на свете, и я должен об этом рассказать», — признавался поэт.

Как и в какой форме рассказать об изменениях в быте, укладе, сознании людей, чтобы было и о народе, и для народа? В выражении собственно лирических переживаний или в детализированной повествовательной манере? Чистая лирическая форма требовала проникновения в глубины индивидуального человеческого «я». Такой путь творческих исканий был не для Твардовского. Убежденный поборник пре-

образований, он искренне поддерживал курс на коллективизацию, на коллективные формы владения землей и на общенародные социальные и духовные ориентиры. Внутренние убеждения, отрицание преобладающего личностного начала в поэзии над общественным интересом диктовали, соответственно, и выбор формы. Граница творческих предпочтений автора проходила на стыках поэзии и прозы, лирики и эпоса, в активном использовании сюжета, изобразительных элементов, прямой речи, присутствии в стихотворениях имен, фамилий либо прозвищ.

А. Твардовский всерьез был озабочен поиском новых жанров и жанровых форм. Не исключено, что во многом эти искания были стихийными. Поэт интуитивно догадывался: жанровая система, сложившаяся в русской лирике XIX — начала XX столетий, не может удовлетворять потребности времени, в котором проявляло свои духовно-нравственные качества поколение поэта. Однако и направление новых творческих поисков автору представлялось не всегда достаточно ясным. Погрезившиеся возможности в соединении прозы и поэзии на первых порах были малопродуктивными, лишенными эстетической привлекательности. Молодому А. Твардовскому, по его же собственному признанию, не удалось добиться жанровой гармонии, единства стихового и прозаического начал, повествования и собственно лирического переживания. Нарушенное равновесие, чаще всего в пользу прозы, вводило Твардовского в сторону от поэтического освоения действительности, вносило разлад между содержанием и формой, отбирало у стиха его «природные начала: музыкально-песенную основу, энергию выражения, особую эмоциональную наполненность». Многие стихотво-

рения из-за жанровой аморфности проигрывали в художественности. Стих был тяжеловесным, излишне разговорным и чрезмерно повествовательным.

В поэтических зарисовках, в рассказах, песнях, с одной стороны, было много детализированного, часто ничем не связанного с основной сюжетной канвой стихотворения, жанрово не мотивированного. Уже в самих названиях стихотворений угадывалось что-то общее: «Родное», «Весенние строчки», «Родная картина», «Урожай», «Песня урожай». Возможно, молодой автор подражал своему любимому поэту А. Кольцову. У «великого прасола» в названиях стихотворений тоже часто встречаются слова «песня», «урожай», другие слова-обобщения. Но там были дух, полет, фольклорно-сказочное, почти надмирное парение. А. Твардовский будто бы спешил выговориться, рассказать о переполнявших его душу состояниях восторга, воодушевления и эмоционального юношеского подъема. Но по-кольцовски воспарить, взлететь в своих лирических фантазиях ему не удавалось. Отсюда так зримы следы открытого публицистического накала, торопливости и определенной идейно-тематической заданности. Все это, естественно, снижало качество стиха. Однако следует признать, что было в том и рациональное зерно: обилие тем требовало соответствующего жанрового обрамления мыслей и чувств автора. А. Твардовский охотно экспериментировал, и это впоследствии дало ему возможность четче уяснить свои устремления в выборе и развитии тех жанровых форм, которые более всего соответствовали его творческому характеру.

В пейзажах, зарисовках, портретах, песнях А. Твардовский был далек еще от объемно-философского отражения

мира, когда одновременно определялось бы место лирического героя в «общем строю» и его индивидуальные особенности. Так, в стихотворениях «Ночной сторож», «Перевозчик», «Уборщица» автор больше рассказывает о профессиональной принадлежности персонажей, чем стремится отразить сложный внутренний мир современника, его социально-психологический портрет. В поэтических зарисовках отсутствует динамика, велика доля декларативности. И хотя герои лирических стихотворений выхвачены поэтом из гущи жизни, в образах ночного сторожа, перевозчика, уборщицы больше схематичного внешнего рисунка, чем полутонов, тонких линий и черточек, несущих на себе, как правило, основную художественную нагрузку. Повествовательное, изобразительное начало в них перевешивает лирическое, выразительное:

Оделся, осмотрел ружье...
 Всю ночь другим заняться нечем —
 Чубок с досадою жует...

Одевание, осмотр ружья, другие признаки последовательных физических действий в данном случае — предмет не поэтического, эмоционально-чувственного исследования, а скорее прозаического, описательного. Словом, у раннего А. Твардовского есть сторожа, перевозчики, уборщицы — носители функции действия, профессии, но нет людей — носителей судьбы, индивидуального опознавательного знака в сложнейшей структуре человеческих настроений.

Ни зарисовки, ни стихотворные очерки, ни иные сюжетные стихи в том виде, в каком они встречаются в стихотворных опытах А. Твардовского 20-х — начала 30-х годов, не

передавали разнообразия и богатства лирических ощущений. Не случайно впоследствии поэт признавался: «Писал я тогда очень плохо, ученически беспомощно, подражательно».

Отчасти это и привело молодого художника к первому серьезному разладу с поэзией, а «нынешний мир потрясенный», борьбы, перемен в деревне привел его в областную газету. В качестве корреспондента он ездил в колхозы и совхозы, вникал во все, что составляло «впервые складывавшийся строй сельской жизни», готовил статьи, корреспонденции, вел различные записи. «Около этого времени я совсем разучился писать стихи, как писал их прежде, — признавался А. Твардовский в «Автобиографии», — пережил крайнее отвращение к “стихотворству” — составлению строк определенного размера с обязательным набором эпитетов, подыскиванием редких рифм и ассонансов, стремлением попасть в известный, принятый в тогдашнем поэтическом обиходе тон».

Однако было бы наивно полагать, что А. Твардовского от «стихотворства» оттолкнул лишь реальный «мир потрясенный». Думается, была здесь и чисто творческая сторона дела. Поэт не хотел писать стихи, как «писал их прежде», но и не писать их вовсе не мог. Он активно искал новые художественные формы отраженья действительности, пробовал свои силы в прозе и, по верному замечанию П.С. Выходцева, в тот период был, пожалуй, «более сильным и выразительным прозаиком, очеркистом, чем поэтом».

Увлечение А. Твардовского журналистикой наложило печать и на поэтические произведения: в стихотворениях и поэмах он широко использовал газетные жанры и публицистику.

В первой половине 30-х годов ведущими жанрами в лирическом творчестве А. Твардовского стали социально-психологические очерки, зарисовки, рассказы в стихах — жанры, в которых прослеживалась наибольшая связь поэзии с прозой, лирики с эпосом. Пейзажи занимали творческое воображение поэта, но не являлись преобладающей формой проникновения в окружающий мир. Они не передавали политической, социально-философской остроты момента. Возможно, А. Твардовского прежде всего привлекали жанры, которые могли бы аккумулировать многообразное содержание эпохи, раскрывать перед народными массами цель и смысл больших преобразований в стране.

Специфика творческого метода А. Твардовского в те годы заключалась не в выпячивании отдельной личности из народной массы, не в противопоставлении ее остальным, а в полном слиянии их. И Бубашка, и дед Данила, и Ивущка, и Анна Никаноровна, и все другие авторские персонажи — типичные представители народа, плоть от плоти его — духовное и национально-гражданское достояние. Вместе со своими персонажами поэт душой и телом срастался с эпохой, смотрел на жизнь глазами сельчан, думал их мыслями. Выбор А. Твардовским именно таких жанровых форм в определенной степени был результатом влияния на него поэтов более старшего поколения — в частности, М. Исаковского: «Пример его поэзии обратил меня в моих юношеских опытах к существенной объективной теме, к стремлению рассказывать и говорить в стихах о чем-то интересном не только для меня, но и для тех простых, не искушенных в литературном отношении людей, среди которых я продолжал жить».

Очерки, зарисовки, рассказы в стихах — не заготовки, не наброски, как полагали некоторые исследователи, а реально и самостоятельно существующие произведения, сложные, многоструктурные по жанровой форме. На их пограничную литературно-видовую принадлежность (сочетание поэзии и прозы) убедительно указывают названия стихотворений: «Гость», «Бубашка», «Хозяин», «Строитель», «Мужичок горбатый», «Катерина», «Четыре тонны» с подзаголовком «Рассказ бригады», «Рассказ председателя колхоза» и другие.

Почему именно эти жанры нашли наибольшее распространение в лирике А. Твардовского первой половины 30-х годов? В эти годы общественная, политическая и трудовая жизнь народа была на подъеме. Страна, словно огромный котел, бурлила от неотложных и важных дел. Люди нуждались в таких стихотворениях, которые были бы занимательны, интересны, легко воспринимались и правдиво рассказывали о трудовых буднях. В этом сюжетно-повествовательные жанры имели преимущество над стихами медитативными, построенными исключительно на эмоционально-чувственном уровне: разве можно передать все богатство внутреннего мира сельского человека без сенокоса и грозового дождя, без запаха свежеспанной борозды и густого, кудлатого дыма из печной трубы?

Увлеченность А. Твардовского повествовательными формами подтверждает творчество многих других поэтов тех лет — Н. Тихонова, А. Суркова, А. Прокофьева, М. Исаковского. Даже у Б. Пастернака, В. Луговского и других авторов нередко встречаются аналогичные изобразительно-выразительные приемы.

Внутреннее тяготение А. Твардовского к очерковым, зарисовочным и рассказовым формам в стихах было своего рода журналистской «разведкой» волновавшей автора темы. В каком-то случае на смену им потом приходили крупные произведения («Страна Муравия», «Дом у дороги», «Василий Тёркин», «За далью — даль»). Иногда та же самая тема обретала качественно иное звучание, происходило лирическое углубление ее. Например, в начале 30-х годов поэт написал стихотворения «Братья» и «Выезжали на ночь в холодок...». В них он обращается к теме детства. В конце 30-х годов эта тема вновь зазвучит в творчестве А. Твардовского, но уже с большим выразительным лирическим акцентом («За тысячу верст», «Друзьям», «На хуторе Загорье», «Поездка в Загорье» и др.).

Из всех лирических и лиро-эпических стихотворений А. Твардовского первой половины 30-х годов очерки и зарисовки, без преувеличения, являлись наиболее художественно убедительными, совершенными по форме и богатыми по жанровому разнообразию.

Чем же привлекательны очерки и зарисовки А. Твардовского? В чем их собственно жанровая ценность? Какую роль они сыграли в развитии дальнейшей творческой судьбы поэта? Прежде всего, необходимо отметить сюжетную динамичность очерков и зарисовок. В одном случае А. Твардовский композицию стихотворения выстраивает так, чтобы показать преодоление лирическим героем старого, частнособственнического сознания путем обретения нового, коллективистского, социалистического по сути. Ведущим жанрообразующим признаком таких стихотворений является социально-психологический портрет. В другом случае

А. Твардовский рассказывает смешную историю. Например, в стихотворении «Полет» через анекдотическую ситуацию, в которой оказалась героиня Анна Никаноровна, раскрывается характер старухи, не пожелавшей отставать от молодежи в приобщении к новому.

Многие стихотворные очерки и зарисовки А. Твардовского тех лет посвящены бытовой сфере жизни сельских жителей, отношениям в семье, в любви, на работе, во время отдыха. Некоторые из них формально напоминают пейзажи. Но каковой бы ни была жанровая форма, каждое лирическое произведение автора имело определенную цель: рассказать о человеке ярко, зримо, с выдумкой, чтобы было интересно читать неискушенному в литературных формах массовому читателю. Поэт вместе с героями испытывает гордость за частицу труда каждого, кто вложил эту частицу в общее дело:

А мы стоим — твой город под горою,
До наших ног его доходит дрожь.
Ты сам себе его подростком строил
И в нем зеленым юношей живешь.
Ты ходишь в нем хозяйскою походкой,
Приветствуешь знакомых и друзей.
Какою жизнь людей была короткой
Во все века в сравнении с твоей!

Стремление А. Твардовского каждый раз обогащать интересными деталями и сюжетными поворотами форму стихотворных очерков и зарисовок лишней раз доказывает мысль о том, что поэт постоянно находился в поиске новых жанровых образований. А. Твардовский заботился о жанровой завершенности стихотворений. Эта завершенность для

поэта заключалась в органичном взаимодействии содержания, формы стихотворения с их соотносительностью с реальной действительностью. Если Твардовский писал очерк, он непременно следил, чтобы внутреннее состояние героя, его мысли, чувства и поступки соответствовали новым общественным идеалам. В этом взгляды, творческие и эстетические ориентиры автора четко соответствовали генеральной линии эпохи: от старого — к новому, от темного — к светлому, от нужды — к довольствию, от поражения — к победе. Поэт никогда не изолировал внутренний мир человека (будь он сторож, перевозчик, косарь, печник) от внешних обстоятельств, утверждая главенствующую роль бытия, материального мира над сознанием.

В какой бы жанровой форме ни были написаны очерки и зарисовки А. Твардовского, их объединяет повышенный интерес поэта к формированию нового сознания советского человека в период коллективизации. Отсюда — неизбежное столкновение прошлого и настоящего, старого и нового:

Хозяин оглянулся виновато
 И подмигнул бедово: — Что, как дождь?.. —
 И гостя с места на покос сосватал:
 — Для развлечения малость подгробешь...
 Мелькали спины, темные от пота,
 Метали люди сено на воза,
 Гребли, несли, спорилась работа.
 В полях темнело, близилась гроза.
 Гость подгробал дорожку вслед за возом,
 Сам на воз ношу подавал свою
 И на вопрос: какого он колхоза?
 Покорно отвечал: — Не состою...

Ситуация, описанная в стихотворении «Гость», — мужицкий спор между колхозником и единоличником о своем будущем. Картина сенокоса, с деталями и диалогами, последовательность изложения действия Твардовскому нужны, чтобы очерк как жанр не «рассыпался» на отдельные сюжетные куски.

Сопоставление прошлого и настоящего — разумеется, в пользу последнего — в очерках и зарисовках Твардовского происходит не только на идейном уровне. Черта разграничения проходит через композиционную ткань стихотворения, языковые особенности, отбор деталей из реальной картины сенокосной поры. Когда поэт рассказывает о жизни своего героя до коллективизации, интонация стихотворения медленная, словно автор с трудом выговаривает слова, подчеркивая тем самым безрадостную и тяжелую долю крестьянина-бедняка: «Так бы доля его, неизбывная, темная, / И тянулась весь век...» Но стоит Твардовскому переключить внимание на насущные деревенские заботы, тон и лад стихотворения меняется, фразы строятся энергично, радостно, как, например, в эпизоде с сенокосом и надвигавшимся дождем:

А туча тихо землю затеняла,
И вдруг короткий прокатился гром...
Дождь находил, шумел высоко где-то,
Еще не долетая до земли...

А вот еще деталь из нового деревенского мироустройства:

...но бывают дела:
Приманила его одна разведенная
И женила его на себе, и в колхоз привела.

Существенная авторская деталь, обозначенная в последней строке про женитьбу и «привод» в колхоз, по своей психологической убедительности и агитационному эффекту, пожалуй, мощнее многих идейно-пропагандистских акций тех лет.

Поэт умело использует и лексический прием. Там, где рассказывается о прошлом, мы читаем: «доля», «неизбывная», «темная», «тянулась». Полная беспросветность, тягучесть и безнадежность. Где автор переходит к настоящему — там и подбор слов иной, жизнеутверждающий: «приманила», «женила», «колхоз». И то, что «разведенная» приманила, женила и привела «его» в колхоз — всё это напоминает библейский сюжет очищения человека от грехов, обращения в веру свободы, справедливости, правды и братства — постулатов нового, социалистического завета.

Использование приема ретроспекции в отражении приемов нового мира («Надолго лег венцами лес сосновый, / И лес хорош, и каждый дом хорош...») необходимо А. Твардовскому для более зримого, яркого показа разительных перемен в жизни людей. В свою очередь, прием сопоставления обогащает внутреннюю структуру жанровой формы, придает ей почти стереофоническое звучание.

В стихотворении «Бубашка» изображена жизнь батрака в неволе и одновременно дан портрет человека нового исторического периода. Твардовскому в этом коротком поэтическом рисунке удалось одним штрихом схватить глубинную суть духовного мира героя, показать огромные перемены в нем как личности через формирование нового сознания: «В годах старик, но отдыха не знает, — / Пошли теперь такие старики». Автор ни слова не сказал о сложной

внутренней перенастройке Бубашки, но одно упоминание о том, что «старик... отдыха не знает», наглядно показывает настроение, душевный подъем героя, его вдохновенное, не знающее усталости принятие новой жизни.

В этом стихотворении Бубашка показан не просто сторожем при исполнении служебных обязанностей. Он — прежде всего человек со своим характером, со своей судьбой, пусть даже полной трагичности: «...прожил жизнь, да так и не женился, — / Не захотел жениться без сапог». Композиция стихотворения, построенная на противопоставлении прошлого и настоящего, даёт возможность проследить образ лирического героя в развитии: кем был батрак при одиночной жизни и кем стал теперь, когда вступил в колхозную артель:

...только сам себя зовет Бубашкой,
А все его зовут уже не так.

Нельзя не восхититься способностью А. Твардовского в малой стихотворной форме отразить масштабный процесс обновления человеческой души. Избрав, казалось бы, самый незамысловатый вариант построения стихотворения, А. Твардовский сумел на примере одного сельанина проследить судьбу русского крестьянства, зарождения новых социальных, нравственных, духовных отношений между деревенскими людьми. Сопоставляя жизнь Бубашки до коллективизации с его жизнью после вступления в колхоз, автор ненавязчиво, но с большой художественной убедительностью показывает, в силу каких причин так круто происходят изменения в сознании батрака. Тридцать лет он «прослужил» хозяину, гордился его лошадьми, стерег его двор, но

сил воду и был для того не более, чем животным. Перемены, пришедшие в село, «перековали» душу Бубашки. Он впервые взглянул на мир своими глазами и немало был удивлен, потому что в людях увидел самого себя:

И странно старику, что к жизни этой
Большой у всех открылся интерес.

Многожанровость достигалась А. Твардовским благодаря тщательному и продуманному отбору материала, умелому «стыкованию» различных жанровых и стилистических элементов стихотворения, поэтому не всегда заметны у него авторские «стяжки». Каждым стихотворением как бы движут сразу несколько жанровых сил: хроника (факт или событие действительности в соотнесенности с исторической эпохой), психологический либо социальный портрет (внутренний мир человека и его активная гражданская позиция), пейзаж (изображение деталей внешнего мира), лирический репортаж (факт или событие в сиюминутном освещении). Их соединение в одной стихотворной форме выражало настроение времени, намечало пути жанрового движения лирики в целом.

Очень часто многожанровость стихотворений А. Твардовского строилась в смешении эпических и лирических признаков, с одной стороны, и соотнесенности событий реальной жизни с человеческими мыслями и чувствами — с другой. Эпический размах в изображении социальных, политических и духовных преобразований, происходивших в те годы в деревне, легко уживался с лирическим настроением. Как ни странно, совмещение двух родовых полюсов в границах одной жанровой формы не создавало жанрового кон-

фликта, отторжения одного от другого — напротив, насыща-ло произведение элементами естественной художественной гармонии. Это соединение расширяло поэтические возможности А. Твардовского, укрепляло связь его творчества с жизнью. В конечном счете, все это способствовало новым жанровым образованиям.

1936 год — переломный в творческой судьбе А. Твардовского: с выходом в свет поэмы «Страна Муравия» состоялось рождение нового крупного советского поэта с индивидуальным почерком. О Твардовском заговорили серьезно и обстоятельно, подчеркивая в нем вполне сложившегося мастера самобытного поэтического слова. В определенной степени «Страна Муравия» явилась кульминационной вершиной, завершающим аккордом, итогом пройденного пути. Вторая половина 30-х годов станет для А. Твардовского качественно новым этапом в поиске индивидуального поэтического почерка.

Ведущее место в стихотворениях А. Твардовского второй половины 30-х годов заняли лирические, а не повествовательные формы, большей частью населявшие творческое пространство поэта в первой половине десятилетия. Думается, главной причиной жанровой трансформации явилась смена лирического героя стихотворений, изменение социальных условий и социально-нравственных отношений в обществе, в том числе и на селе. До «Страны Муравии» А. Твардовский изображал людей — выходцев из старого мира, испытывающих жажду приобщения к новой жизни. Им приходилось преодолевать немалые трудности, буквально силой переделывать себя, чтобы стать со-творцами преобразований, а не сторонними наблюдателями. Все это не-

обходимо было показывать на конкретных примерах из жизни, подробно изображать события, курьезный случай, шутку соединять с серьезными, насущными проблемами текущего момента, под воздействием которых человек менял свое отношение к миру.

В середине 30-х годов в деревне появился новый тип крестьянина, сформированного коллективной формой ведения хозяйства. Это было поколение молодых парней и девушек, с энтузиазмом принимавших эстафету нового мироустройства. Молодежь горячо бралась за дело, упрямо преодолевала трудности, с воодушевлением выстраивала новые взаимоотношения. Это было здоровое, жизнерадостное и дееспособное поколение, о котором А. Твардовский (один из его представителей) не без гордости писал в стихотворении «Сверстники»:

Нам сеять хлеб, рубить леса
И в ход пускать машины.
И резать плугом целину,
И в океанах плавать,
И охранять свою страну
На всех ее заставах.

Разумеется, такие жанровые формы, пронизанные историческим оптимизмом и юношеской восторженностью, по жизнеутверждающей энергетике отдаленно напоминали торжественно-высокопарное звучание од Ломоносова, Державина, Пушкина. Только наполнены они были иным содержанием, более свободным обращением с языковым стилем и оттенками лексического рисунка. Иными были и герои произведений. У классиков в одах непременно присутство-

вали цари либо сановные вельможи, в элегиях — «рыцари печального образа». У Твардовского и у его поэтических сверстников стихотворное пространство осваивали простые деревенские люди, они попадали впросак и выходили из трудных ситуаций легко, с улыбкой, показывая высокую степень адаптивности к внешним обстоятельствам. Это в их честь звучали торжественные одические песнопения, прославлявшие трудовые достижения и веру в новую счастливую жизнь. А если парням и девушкам приходилось грустить, влюбляться и расставаться с любимым человеком, элегически нежное, с шуткой-прибауткой лирическое повествование автора все равно настроит своих героев на счастливое преодоление душевных мук, потому как иначе было нельзя: при новом, социалистическом строе коллективистская психология, интересы страны обязательно должны главенствовать над индивидуальными проявлениями личности. Нередко в одном стихотворении у Твардовского смешиваются одические (торжественные) и элегические (грустные) потоки, рождая непривычно скомбинированную жанровую конструкцию, не укладывающуюся в классически устоявшиеся схемы.

После написания поэмы «Страна Муравия» поэт не сразу отказался от сюжетно-повествовательных форм. Он в эти годы создает прекрасный цикл рассказов в стихах про деда Данилу, «Ивушка», «Ленин и печник». Встречается в его творчестве и стихотворный очерк. Но не рассказы и не очерки делают жанровую «погоду» и определяют выбор поэта. Творческий поиск обогащается новыми жанровыми образованиями. Существенное влияние на жанровые предпочтения оказывает перераспределение сюжетно-повествовательных

функций и композиции. Эти компоненты, определявшие в первой половине тридцатых годов авторский выбор соответствующих жанров, утрачивают роль ведущих и превращаются во вспомогательный жанрообразующий элемент стиха. Так, сюжет и манера повествования в стихотворениях «Друзьям», «На хуторе Загорье», «Поездка в Загорье» используются Твардовским по традиции в качестве отработанного авторского приема, потому что чистую лирическую форму как способ самовыражения поэт не признавал, считая обязательным присутствие в стихотворениях гражданского начала. Обилие диалогов, наличие конкретных персонажей и элементы действия употреблены автором с единственной целью: подчеркнуть прочную связь со временем, страной, с окружающей действительностью.

— Что ж мы, добрые люди, —
Ахнул Лазарь в конце, —
Что ж мы так-таки будем
И стоять на крыльце?
И к Петровне, соседке,
В хату просит народ.
И уже на загнетке
Сковородка поет.
Чайник звякает крышкой,
Настежь хата сама.
Две литровки под мышкой
Молча вносит Кузьма.

При внимательном разборе композиции упомянутых выше стихотворений открывается одно общее, стержневое свойство: связующим звеном их жанрового синкретизма является авторское настроение. Именно в нем за внешней

описательностью, прямой речью персонажей спрятан главный авторский расчет — заставить довериться, стать соучастником эмоционального состояния, испытываемого поэтом при свидании с малой родиной, с земляками. Авторское настроение, представляющее собой по форме развернутое путешествие-воспоминание, становится мощнейшим жанрообразующим элементом. Если ранее Твардовскому не удавалось с такой органичностью достигать художественной правды и гармонии, то возросшее к середине 30-х годов поэтическое мастерство позволяло ему быть более свободным, вольным при выборе лирической формы.

Рассматривая жанровое движение стихотворений А. Твардовского второй половины 30-х годов, мы должны учитывать, что поэт как лирик — в традиционном понимании этого слова — только начинал формироваться. Немногочисленность стихотворений «непосредственного самовыражения» объясняется отчасти общими тенденциями развития русской лирики того периода, но и лишний раз подчеркивает относительную слабость «исследовательского» стиха А. Твардовского, о чем в 1976 году справедливо писал в предисловии к 6-томному собранию сочинений поэта Ю.Г. Буртин. Даже в стихотворениях, наиболее близко стоящих по своему композиционному строению к собственно лирическим формам, наблюдается вытеснение личности автора частным фактом жизни, деталями внешнего мира. Глубокого проникновения в тайники человеческой души нет. «Поэт открывает — действительно открывает — и с неотразимой убедительностью лепит привлекавшие его характеры (старый печник Ивушка, плотник дед Данила), — пишет Ю.Г. Буртин, — высвечивает новое во взаимоотношениях молодых

людей колхозной деревни, но, судя по всему, еще не ставит перед собой задач более широких и трудных, не обнаруживает тяги к целостному художественному познанию окружающей жизни во всем ее богатстве и противоречиях».

Во второй половине 30-х годов мотивы детства, дружбы, любви к большой и малой родине в лирическом творчестве поэта зазвучали с новой силой. И что самое неожиданное — Твардовский вдруг отказался в них от жанровых форм, которыми он пользовался несколькими годами ранее. Однако, как уже отмечалось, парадокс состоит в том, что эта форма стиха как бы превратилась в свою противоположность: в нем личных переживаний, т.е. собственно лирического, куда больше, чем в торжественных гимнах и песнях новой советской деревне или в стихотворных зарисовках и портретах. Самое удивительное состоит в том, что А. Твардовский нашел «золотую середину». Личное, пережитое становится мощной компонентой в гражданском звучании творчества поэта.

Все дело в том, что на исходе третьего десятилетия А. Твардовский претерпевает значительные изменения в мироощущении. Эпическое освоение бытия отступает перед жаждой более глубокого лирического познания жизни и стремления к выражению собственных чувств и мыслей:

И первый куст листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо, —
Мне всякий раз тебя напоминают.

Балладный, одический характер отношений с действительностью значительно дополняется элегическим осмыслением процессов, происходивших в стране — в частности, в деревне. И хотя сюжетные и композиционные особенности многих стихотворений Твардовского в общих чертах напоминают произведения прежних лет, их внутреннее жанровое содержание существенно обогащается и часто представляет собой сложное лирическое повествование.

Типичную модель многожанрового произведения тех лет представляет стихотворение «За тысячу верст». По форме это развернутое воспоминание. Поэт, находясь за тысячами верст от родного дома, мысленно переносится в смоленские края, в своем воображении рисует подробную картину предосенней поры. Однако по мере движения переживаний жанровая форма все более обретает черты и признаки сложного, многопланового лирического повествования. На смену пейзажу, созданному по воле автора как бы попутно, произвольно, незаметно приходит реальный пейзаж «поры августовской», так же органично сменяющийся зарисовкой о земляках («Поют трактористы, / На зябь выезжая...»). Кажется, автор только наметил новый жанрово-сюжетный поворот, и вдруг он обрывает его («Страда отошла...») и переклюкает свое внимание на вяжущего веники старика Данилу («Он прутик до прутика / Ровно кладет: / Полдня провозиться, / А париться — год»). Но уже в следующей строфе поэт восклицает: «Привет мой сыновий / Далекому краю...»

Повествовательный рисунок автора в стихотворении таков, что совершенно теряется ощущение виртуального

времени. Создается иллюзия сиюминутного протекания действия, хотя на самом деле А. Твардовский вспоминает.

Подобная разновидность жанровой формы стала возможна благодаря тому, что поэт в стихотворении «За тысячу верст» мастерски соединил элегическое и одическое начала в восприятии действительности. Кстати сказать, эта двуединая форма эмоционального контакта А. Твардовского с миром в конце 30-х годов стала ведущим жанрообразующим элементом. В каждом стихотворении, более или менее связанном с личной жизнью поэта, в обязательном порядке она представляла причудливую палитру настроений: радость сменялась грустью, восторженность — разочарованием, непоколебимость — сомнением. Происходило это в зависимости от того, о чем рассказывал Твардовский в конкретном случае.

Итак, каким же образом А. Твардовскому удалось найти столь необычную, сложную по внутренней конфигурации и очень легкую по своей внешней, слуховой и звуковой стороне форму стихотворения «За тысячу верст»?

Оценивая общий жизнеутверждающий строй стихотворения, можно предположить, что это ода. В принципе, мы не ошибемся, если его жанр так и определим. Но обилие обращений, восклицательных предложений, легкий, прозрачный синтаксис не до конца идентифицируют жанровую особенность этого произведения. Оду, даже если она — явление первой трети XX столетия, логично было бы начать со строк: «Привет мой сыновий / Далекому краю...» или «Родная страна! / Признаю, понимаю: / Есть много других, / Кроме этого края...»

Однако А. Твардовскому потребовалось одиннадцать

первоначальных строф, чтобы затем только высказать свой «поклон — пожеланье» родной смоленской земле, старику Даниле, «всем старикам богатырской породы», чудакам и балагурам, мастерам и мастерицам, одногодкам, даже березе, которая когда-то привлекала своей красотой внимание будущего поэта.

Сорок четыре строки были необходимы автору, чтобы его песня, наполнившись лесным шумом, птичьим говором, пастушеским ветром, спустя много лет донесла до родины привет бывшего «загорьевского парня», а ныне знаменитого советского поэта.

Эти зачинные строки далеки от одических мотивов по своему пафосу. Для А. Твардовского они — своеобразная стартовая площадка в душевных переживаниях, только оттолкнувшись от которых можно набрать нужную высоту голоса. Вчитываясь в их замедленный ритм, сразу проникаешься легкой грустью позднего лета, когда еще вроде и лист пропылен, и отава зелена, но уже плывут над жнивьем паутинки, и «краснеют рябины под каждым окном», и нежарко греет августовское солнце, а по утрам хрипло кричат молодые петушки.

А. Твардовскому важно вызвать у читателя очарование ушедшим детством, пробудить в нас забытые ощущения.

За тысячу верст
От родимого дома
Вдруг ветер повеет
Знакомо-знакомо.
За тысячу верст
От родного порога
Проселочной, белой
Запахнет дорогой;

Ольховой, лозовой
Листвой запыленной,
Запаханным паром,
Отавой зеленой;
Картофельным цветом,
Желтеющим льном
И теплым зерном
На току земляном...

Одическое и элегическое состояния — это как бы одновременный и неразрывный процесс познания поэтом действительности. Т.е. слияние этих двух начал выходит за рамки жанрового уровня (как способ связи поэта с внешним миром) и переходит на уровень мировоззрений. Элегическое у Твардовского непременно связано с воспоминаниями о прошлом, о детстве, да и о затаившейся в сердце глубокой семейной драме, где и идейный разрыв с отцом, и высылка семьи на поселение, о чем душа кричит, разрывается от тоски, вины и боли, а сказать об этом не скажешь. Прошлое для него живет в настоящем в качестве светлых воспоминаний, как свет далекой звезды, которая погасла миллионы лет назад, а мы до сих пор видим на небосклоне реальные признаки ее существования. Прошлое — это прежде всего память. А ее не перестроишь, не разломаешь по кирпичику, как печку из стихотворения «На старом двореце», не перепашешь плугом. Она всегда и в любой момент может дать о себе знать: «И хоть вокруг ни сошки нету / От печки той одной — нет-нет, / Повеет деревом согретым, / Прокопченным за много лет». Даже если «кирка и лом» покончат с приметами прошлого, память все равно напомнит о них: «И только гуще и темнее / Здесь всходы выбегут весной».

Начало стихотворения «За тысячу верст» звучит явно элегически. Лексически это состояние авторской души подкреплено двукратным повторением слова «знакомо»:

Вдруг ветер повеет
Знакомо-знакомо...

Но чем дальше вспоминает поэт, тем бодрее звучит его голос. Он словно переносится в свой смоленский край, но не образами, хранящимися в памяти, не фотографически, а как бы воочию:

Хрипят по утрам
Петушки молодые,
Дожди налегке
Выпадают грибные.
Поют трактористы,
На зябь выезжая,
Готовятся свадьбы
Ко Дню урожая.

С каждой новой строфой меняется интонация. Звучит ода во славу человека-творца, народа-богатыря, льется песня величия родной земли.

Живите, красуйтесь
И будьте здоровы
От веников новых
До веников новых.

Процесс перехода от эпического повествования к лирическому в творчестве А. Твардовского в конце 30-х годов, по видимому, является закономерным.

Поэт ощутил потребность вновь обратиться к событиям

минувших лет, но уже в центр их поставить «я» лирического героя и через его настроение, внутреннее состояние соприкоснуться с новым миром, с огромными переменами, происходившими на его глазах и при его активном участии. Оказывается, в великом марше преобразований звучали и такие ритмы, о существовании которых Твардовский не подозревал. Они были заглушены победной музыкой всенародного шествия. В этих ритмах угадывалось очень знакомое, одновременно радостное, горделивое чувство за свой народ и страну, за его созидательный труд на общее благо и грустное ощущение неминуемой потери, бесповоротного прощания с чем-то дорогим и близким, неповторимо прекрасным и необъяснимо важным:

Я смотрю, вспоминаю
Близ родного угла,
Где тут что: где какая
В поле стезка была,
Где дорожка...
А ныне
Тут на каждой версте
И дороги иные,
И приметы не те.
Что земли перерыто,
Что лесов полегло,
Что границ позабыто,
Что воды утекло!

После таких строк не сразу угадаешь, чего в них больше: гордости советского поэта и гражданина или все-таки горечи от поспешного слома всего и вся, что напоминало «старый мир». Перерыли земли, перелопатили, а всегда ли с пользой для себя — получается, большой вопрос.

Одним словом, жанровое движение стихотворений А. Твардовского в 30-е годы проходило по двум творческим магистралям: поэт постоянно стремился к жанровой раскрепощенности, к полифонии в отражении действительности и всегда заботился о завершенности жанровых форм стихотворений. Многие лирические произведения А. Твардовского многожанровы как по форме, так и по содержанию, в них стираются границы взаимодействия эпического и лирического, явно прослеживается трансформация традиционной жанровой системы. Выбор поэтом того или иного жанра строго подчинен идейной и творческой задачам, специфике поэтического материала, а также индивидуальным особенностям таланта.

2010

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

*Воронежские страницы
в кавказских скитаниях М.Ю. Лермонтова.*

Эссе на фоне дождливого летнего утра

Ненастное летнее утро. Только что закончился короткий, не по-июльски тихий и мелкий дождь. Чуть прояснилось, и по небу даже не плывут, а нехотя передвигаются густые, не сплошные, а разорванные небесной десницей тучи. Серебристо-свинцовые, причудливо-вихрастые... Я провожаю их взглядом, и неожиданно из глубины сердца выплывает величественно-грустная музыка строк:

Тучки небесные, вечные странники,
Степью лазурною, цепью жемчужною...

И моя фантазия несет меня вслед за лермонтовскими тучами по просторам воображения. Где еще, если не у нас, в воронежском раздолье, ухватила и отнесла в тайники памяти душа поэта удивительный образ лазурной степи, чтобы однажды в Петербурге, незадолго до своей последней поездки на Кавказ, глядя в окно, с горечью признаться:

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники...

А тучи плывут и плывут. Не откуда-то, а прямоком «с милого севера в сторону южную...» И возникает беспокойство, и ты теряешь в это мгновение душевное равновесие от странного слияния собственного настроения с лермонтовским стихотворением и с привычным, не таким уж редким природным явлением — морозящим летним дождем.

Не этот ли ветер гнал поэта с вереницей «тучек небесных» через воронежские степи туда, в тревожно-опасный горный край, чтобы за хребтами Кавказа, либо в укромном таманском домике у моря, в тени чинар с их прохладой и покоем, укрыть поэта-изгнанника от «всевидающего ока и всеслышащих ушей», от насмешек и притеснений высшего света? Не этот ли ветер искал приют певцу, подобно дубовому листку, оторвавшемуся «от ветки родимой», чтобы на чужбине обогреть, приласкать и передать его вечности, испытывав на стойкость, верность и преданность через предательство, подлость и зависть соплеменников?

Вместе с думами о поэте ветер будто подхватывает и меня. Я что — странник? И тот незнакомец под зонтиком на тротуаре — тоже странник? Может, человек вообще странник на этой земле и под этим небом? Мы все — «тучки небесные»? «Степью лазурною, цепью жемчужною» каждого из нас гонит судьба по дорогам Отчизны. И в сокровенные минуты понимаем: любим мы ее — но почему-то тоже, как и поэт, «странною любовью». Может, потому что и ее любовь к нам странная? Молодой Лермонтов зацепил, натянул в каждом из нас струнку, отозвавшуюся глубинной болью. Иначе откуда эти необъяснимые состояния тоски и обреченности, униженности и одиночества, безумства и мужества, бесшабашности и жертвенности, совестливости и добродете-

ли? Отчего они? Из каких источников проистекают? Какими ветрами надуло в сквозящую щель раздвоенного сознания и духа? По какому праву? И что это, наконец: божье предназначение или уязвленная, разреженная русскими пространствами страждущая душа?

Я часто задумываюсь, сколько же этой мерзкой философской субстанции, которую ни пощупать, ни понюхать, нужно, чтобы заполнить бездны российских расстояний, среди которых томятся наши святые и грешные души! И мы несем все это из поколения в поколение, столетиями надрываясь, надламываясь, буйствуя и радуясь, любя и проклиная в извечном поиске правды и воли. Амплитуда наших душевных колебаний так велика, что не то что выплескивается под лермонтовские «тучки небесные», но и прихватывает пространства, где «звезда с звездой говорит».

* * *

Через несколько минут небо снова заволжлось, кругом потемнело. Задождало. В третий раз за утро.

А фантазию уже не остановить... Время перепуталось, границы стерты... Поток чувств, перемешиваясь с дождевыми струями, несет в прошлое. Туда, туда, почти на два века назад, к Лермонтову. Он уже здесь, на подступах к нашему городу... Он — тучка. Он — вечный странник на русской земле, изгнанный из привычного окружения.

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную...

На счастье потомков, Воронеж оказался уникальной географической и исторической точкой на пути скитаний гордого, свободолюбивого юноши.

В принудительных путешествиях на Кавказ (а первый раз поэт был сослан туда в 1837 году за стихотворение «На смерть поэта») через столицу Черноземья Лермонтов не был одинок.

В 1818 году в Воронеже короткую остановку совершил будущий автор «Горя от ума» А.С. Грибоедов. Как секунданта на дуэли его отправили в почетную ссылку в Персию — набираться дипломатического опыта.

В 1829 году через воронежские края в Минеральные Воды и Тифлис проезжал А.С. Пушкин.

Расположение Воронежа на пути опального русского вольнодумства сослужило ему одинаково как дурную, так и яркую славу — города, ставшего знаковой частью истории России. Попавшие в немилость царей и сосланные на «перевоспитание» под пули горцев подданные Российской империи — как правило, люди передовых идей и мыслей — не могли миновать на изгнаннической тропе губернский центр с таинственным, неразгаданным, притягательно-пугающим набором звуков — В о р о н е ж.

Безымянных «вечных странников» русской судьбы гнали с севера на юг, по меткому определению Лермонтова, и «зависть тайная», и «злоба открытая», и «друзей клевета ядовитая». «Транзитных» особ Воронеж встречал, скорее всего, как это и было повсеместно, с жандармской настроенностью, равнодушно и холодно, буднично и скучно.

Впрочем, и высоким столичным пилигримам город представлялся рядовым привалом в длительной тряске по отеческим ухабам.

Среди вечных странников русской литературы, в биографии которых значится губернский город Воронеж, были К.Ф. Рылеев и Д.В. Веневитинов.

Поэт и вольнодумец, будущий основатель альманаха «Полярная звезда», один из организаторов восстания декабристов 14 декабря 1825 года Кондратий Рылеев в 1817–1819 годы служил в конно-артиллерийской роте, расквартированной в Острогожском уезде. Был женат на дочери местного помещика — Н.М. Тевяшовой. Частенько наведывался в Воронеж. Тернистый путь бунтаря-стихотворца, возжаждавшего свободы и равенства, пролегал с меловых круч Дона к Сенатской площади Петербурга.

В 1824 году родовое воронежское имение в с. Новожиловинном в последний раз посетил знаменитый любомудр — философ и поэт Дмитрий Веневитинов. Поездка оставила в сердце юноши неизгладимый след. Вместе с братом Алексеем Веневитиновым он побывал на приеме у воронежского губернатора П.И. Кривцова, известного своей близкой дружбой с А.С. Пушкиным. Много гулял в окрестностях Новожиловинного, любовался картинами природы. В письме к сестре Софье в Москву признавался: «Я такой любитель деревни, что скоро забываю все неприятности, чтобы спокойно отдаться наслаждению, а здесь есть чем наслаждаться. Всякий раз, когда я переправляюсь через Дон, я останавливаюсь на середине моста, чтобы полюбоваться на эту чудную реку, которую глаз хотел бы провожать до самого устья и которая протекает без всякого шума, так же мирно, как само счастье...» Но это счастье не было долгим. Вскоре Веневитинов возвращается в столицу. Симпатизируя декабристам, тяжело переживает исход событий 14 декабря 1825 года.

Осенью 1826 года, будучи переведенным в Петербург на дипломатическую службу, подвергается аресту и обыску. Петербургский период для восходящей звезды русской словесности оказывается недолгим — в марте 1827 года Дмитрий Веневитинов, простудившись, умирает. Его жизнь, короткая, как вспышка молнии, озарила на миг несостоявшийся в полной мере путь избранника и вечного странника, но успела оставить свой неповторимый след в судьбе Воронежа.

Транзитным пунктом русского свободомыслия Воронеж оставался на протяжении всего XIX века и даже в дореволюционные годы XX столетия. Толстой и Чехов, Горький и Маяковский — кто только ни останавливался в городе в своих скитаниях по отеческим просторам... Избежал «транзитного» воронежского привала разве что Есенин. Вынужденный побег в Баку совершил по железной дороге через Курск...

Последним трагическим штрихом этого «транзита» стала ссылка в Воронеж О. Мандельштама и приезд к нему в гости в 1936 году А. Ахматовой.

Но и для своих, родных кровинушек, Воронеж нередко являлся «транзитным пунктом».

Вспомним А.В. Кольцова. Разве не странник? Разве не отверженный? Душа тянулась к стихам, а суровая действительность отправляла в бесконечные скитания по Дикому полю. Месяцами не жил дома, гонял отцовский скот. Ночевал с чумаками в степи, у костра. Пел и горевал вместе с крестьянами, вел душевные беседы с пешими странниками. В степи их тогда хватало: кто бродил в поисках лучшей доли, кто таким образом познавал Бога.

А Иван Бунин? Воронеж подарил младенца миру, запи-

сал дату рождения в метрике — и будь здоров, Алексеич, сам разбирайся в своих «окаянных днях» вечного странствования — от двухэтажного особнячка на центральной воронежской улице до тихого парижского кладбища.

В конце 20-х годов прошлого века Воронеж отправил в вечные скитания еще одного своего титана — Андрея Платонова. Сказал ему: ступай! Тот пошел искать сокровенных человеков, ювенильные моря и котлованы новой социалистической жизни в стремительном и яростном мире, да так и не пристал больше к родному берегу, пополнив гряду «летучих голландцев». Зато мотив странничества стал едва ли не самым распространенным в его творчестве. Трудно понять, в чем причины такого обращения к теме, скорее всего, по душевному строю писатель и был странник. Не так давно мне попала в руки работа Л.П. Фоменко «Мотив железной дороги в прозе Платонова». Исследователь творчества писателя точно подметил: «В художественном мире Платонова железная дорога связана с важнейшим философским мотивом движения, включающего “уход”, “возвращение”, “дом”, “дорогу”, “странничество” и т.д. Странничество и поиск, как правило, в русской традиции связаны с пешим передвижением. Такой образ есть и у Платонова (стихи из “Голубой глубины”, “Чевенгур”, “Глиняный дом в уездном саду”, “Июльская гроза” и др.). Совместив традицию странничества с железной дорогой, Платонов обогащает ее неожиданным обертоном, который особенно ярко сказывается в “Сокровенном человеке”».

Во второй половине двадцатого столетия список «воронежских скитальцев» пополнился именами Анатолия Жигулина, с юности прошагавшего сибирскими дорогами с

клеймом врага народа, и Алексея Прасолова, кочевавшего в своей неприютности из одного района области в другой...

Ссылные и не ссылные, служивые и отдыхающие на кавказских минеральных водах, знатные и разночинные особы — писатели, артисты, музыканты и художники, дипломаты и военные — поручики, капитаны, полковники и генералы, — все они в равной степени были «тучками небесными». И Лермонтов, наверное, первый и единственный из поэтов России особо остро ощутил трагичность великого духовного тракта из Санкт-Петербурга и Москвы на Кавказ:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Черного моря...

* * *

Дождь не кончается. Моросит, злит, портит настроение. Тучи, нагоняя и подпирая друг друга, слились в сплошное серое марево, будто что притормозило их беспрепятственное скольжение по воздушной лазури. Я больше не различаю их сказочные силуэты, но инерция лермонтовского поэтического эха сильнее переменчивых погод.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

на ветру, на этом высокомерном зазнайке-потоке, перед которым даже тучи — жалкие, слабые существа. Эти крики-вопросы — словно шифр к разгадке истинного смысла написанного. Какая сильная, оказывается, в этом вспыльчивом, честном юноше, пусть хоть и «странная», но искренняя любовь к Отчизне, к ее героической истории, которую «недаром помнит вся Россия» и которую опошлили «наперсники разврата»! Какая неподдельная любовь к народу, к купцу Калашникову, поплатившемуся жизнью в схватке за честь жены и своего рода!.. Лермонтов — тучка. Он мог бы легко скользнуть за горизонт, пролиться дождем — и нет его больше для «севера милого», для «голубых мундиров» и «пашей»... Но он выше «мелочных обид», его душа полна веры в торжество справедливости и разума, чести и закона: «...есть и божий суд... Есть грозный суд... мысли и дела он знает наперед». Поэт надеется на возвращение, он не желает разделить участь дорогих и близких ему по внутреннему ощущению мира небесных образов. В «минуты роковые» его обуревают сомнения:

Что если я со дня изгнания
Совсем на родине забыт!
Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца после многих лет?..

«Под бременем познания», горького открытия он готов сравнивать себя с тучками, но его судьба, в отличие от небесных странниц, иная, куда более незавидная. С тучами все понятно: у них нет родины. А у него есть! Он любит «ее сте-

пей холодное молчанье, лесов безбрежных колыханье...», любит «проселочным путем... скакать в телеге» и «встречать по сторонам... дрожащие огни печальных деревень». И он жертвует возможностью обрести почти космическую свободу от всего, потому что осознает: человеку этого свыше не позволено. Пусть вокруг «скучно, и грустно, и некому руку подать», пусть даже «печально я гляжу на наше поколенье», все-таки выбор души однозначен: «Нет у вас родины, нет вам изгнания...» Последней строкой поэт как бы возвращает себя из стихотворной иллюзии в суровую объективную реальность.

А это уже — поступок, это — знак пророка! Печать себе и своему времени.

Обладая фантастической силой поэтического перевоплощения, Лермонтов не только был способен «уйти» в образ, раствориться в нем до последней живой клеточки, он обретал его сущностную энергию. Мысленно срастаясь с «тучками небесными», не оттуда ли, с высоты воплощенного, он взирает на землю? Что ему видится в то мгновение? Лазурная степь? Жемчужная цепь? Нет, это только атрибуты реального мира, его детали. Они важны, без них стихотворный каркас рухнет. За ними поэту являлись глубочайшие противоречия мира. Он недоумевает от заложенного природой конфликтного предназначения человека как высшего разумного существа на земле. С одной стороны, человек создан по образу божьему и должен быть носителем добра и света, с другой — откуда в нем столько демонического, ярого, откуда столько зла, готовности жестоко и бессмысленно расправляться, мстить, убивать?

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»

Даже без анализа сложнейших жанрово-композиционных и тематических особенностей стихотворения «Валерик» ясно, что в своих поэтических произведениях 40-х годов поэт достигает пика мастерства, высшей степени художественной обобщенности. Остается удивляться, как удается. Его душевное состояние крайне напряженное. Поэт измотан, растерзан, беспрестанно трясется по дорогам между столицами и Кавказом, участвует в военных операциях с горцами, рискует жизнью...

И всякий раз на его пути — Воронеж. Дорожная неизбежность? Или все-таки божье благорасположение: дать возможность передохнуть в тихом губернском городе, собраться с мыслями, привести себя в чувство?

Дорога в судьбе поэта — мощнейшая мотивация творческого взросления. Дорожные впечатления — уникальная возможность понять себя и других, прикоснуться к земному — сиюминутному и небесному — вечному. Кто еще из его стихотворцев-современников мог легко, подобно космическому кораблю пришельцев, взмыть с сельской обочины, с каменистого берега горной речки, с места боя сразу под облака, к звездам, свободно переместиться в пространстве и времени, сделав рядовую деталь земного бытия неотъемлемой частью мироздания и высшей гармонии? Наше общество только сегодня с помощью информационных технологий

научилось создавать иллюзию картинки, в которой человек будто бы становится живым участником воображаемого действия. А поэтический гений Лермонтова с помощью нехитрых приемов со словом, образом и метафорой, как в современных технологиях с применением искусственного интеллекта, творил объемную поэтическую иллюзию мира, помещая в него человека, чтобы понять, каков он, откуда в нем столько противоречий и отступлений от «подобия божьего».

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Стихотворение «Парус», 1836 год. Поэту всего 22 года. Начало поэтического движения к вечному странствованию. Все написанное до этого в основном — ученичество и подражание, оно — от общей культуры, образованности, начитанности. А в «Парусе» уже сама судьба будущего пророка водит пером по бумаге. Мятежный дух человека с его первоначальной обреченностью перед силами природы органично вписан в глобальные координаты земли и неба, моря и солнца!

...А уже через год Лермонтов будет сослан на Кавказ за дерзкий стихотворный отклик на смерть Пушкина. И маршрут его впервые проляжет через незнакомый ему город — Воронеж.

...А в 1839 году наконец-то закончит поэму «Демон», в которой по воле автора пространство, время и дух то сведены в точку, то отодвинуты до башен монастыря, а то распахнуты до космических горизонтов, над которыми «...за веком

век бежал, / Как за минутою минута, / Однообразной чередой...». И кульминацией авторской медитации станет сцена клятвы Демона. Это — не воспаленный бред влюбленного юноши, стоящего на коленях перед любимой, это — голос неба, дыхание вселенной:

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем...

...А через четыре года Лермонтов напишет «Тучи»... И такая же, как в «Парусе», простота, ясность и обманчивая внешняя безыскусность. Но вместо юношеского показного бунтарства мы угадываем пророческую мудрость мужа, воина, поэта, соединившего в себе несоединимое — все параллели мира, его философско-этические и духовно-нравственные потоки.

* * *

Дождь снова прекратился, небо стремительно очистилось. Синева и солнце. Два цвета торжествуют, наполняют красками каждый уголок земного пространства. И — ни одной тучи.

А как же Лермонтов? Как же мои попытки повстречать его на Большой Дворянской — главной улице старого Воронежа? Ведь он уже тут бывал. И когда ехал в конце января 1841 года из Новочеркасска... Останавливался в гостинице Колыбихина. Не сильно задержался, правда, спешил, не терпелось в столицу, к друзьям... И когда в конце апреля — начале мая того же года, но уже на обратном пути, из Петербурга на юг... Ехал не один, со своим другом и родствен-

ником А.А. Столыпным — Монго. Ехал с неохотой, трудно.словно нехорошие предчувствия одолевали. Потому, наверное, и задержался на несколько дней в провинциальном Воронеже. Сняли с Монго номера в гостинице Евлаховой и немного покутили, повеселились с местными барышнями...

...Мысли навязчивы, от них тяжело отмахнуться. И я хочу, чтоб снова по небу поплыли тучи. И тогда поэт будет мне ближе. Ведь он — тучка! У него этот образ по всему творчеству. Помните:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана...

Я пытаюсь остановиться на этих строчках и не могу: они выскальзывают из сознания наружу:

Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя...

И пока нервничаю по поводу перемен погоды, пока надрываю сердце глупыми вопрошаниями — кажется: все эти небесные существа из всех лермонтовских стихотворений и поэм, прозы и писем напозают на меня, обволакивают, завораживают и под воздействием счастливого колдовства, растворившегося в крови, обжигающего прелестью и тайной, уносят за собой в край вечной гармонии...

И я спрашиваю, не знаю у кого, просто спрашиваю: как удалось поэту в этом стихотворении соединить волшебную простоту и глубочайший философский и нравственный подтекст? Ни единого намека на конкретную житейскую ситуацию, ни малейшего штриха в описании места или времени

действия и уж тем более — открытой обиды и презрения, как, например:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ...

Ничего лишнего: настроение и музыка. Вечные мотивы, понятные любому чуткому сердцу и здравому уму. Это как у Пушкина в стихотворении «Я вас любил...».

Кто только ни следил за плавным движением небесных путешественниц! Кто ни восхищался их причудливыми неземными формами! Не правда ли, красиво, романтично, забавно? Наверное, и через сто лет какой-нибудь гордый юноша — ровесник Лермонтова, только не с саблей на боку и верхом на лихом коне, а с чипом в башке и с монитором в зрачке — будет с интересом следить за полетом туч. Может, даже будет испытывать чувство легкой грусти, одиночества от мимолетности жизни. Что поделать: присутствие человека в обществе себе подобных не гарантирует защиту от таких душевных состояний. При виде проплывающих мимо «тучек небесных» почему-то наиболее остро осознаешь себя пылинкой в космической бездне...

А вот Лермонтов двумя последними строчками разрушил стандартные романтические ощущения, придав стихотворению ненавязчиво-горестное, но легко прочитываемое гражданское звучание:

Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания...

Парадоксальный, неожиданный поворот авторского настроения — словно отрезвляющая от романтического опья-

нения дождевая струя. Иллюзии созерцания, созданного в первом четверостишии, рассеялись. Дохнуло холодом космической бездны, взглядом оттуда, откуда всего видней: кто ты — властелин, раб, избранник, изгнанник, пророк или бунтарь-одиночка? Согласен ли ты разделить судьбу «вечно свободных» тучек, кому «чужды... страсти и чужды страдания», или все-таки лучше оставаться в трудной доле изгнанника, но вместе с родиной? И только потом, перед последней поездкой на Кавказ, за несколько месяцев до трагической дуэли, Лермонтов будто делает «контрольный» поэтический выстрел:

Прощай, немытая Россия...
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь...

* * *

Небо слышит своих избранников. Небо не теряет с ними связи, сколько бы лет не минуло на земле, сколько бы туч не проплыло по голубой лазури.

...Слава богу, после короткого прояснения тучи вновь вынырнули откуда-то, будто из-под карнизов многоэтажек или из-под придонских холмов, и плывут себе — на радость фантазиям лета.

Степью лазурною, цепью жемчужною...

...Все-таки здорово, что поэт всякий раз отправлялся на Кавказ через мой город. Наверное, поэтому я слышу его голос, различаю в забытом сонме людских шагов чеканный

строй его гусарских сапог. А еще я пытаюсь представить образ поэта, во что он одет, похож ли на того, что привычно смотрит с книжных страниц. Мысленно рисую нашу возможную встречу.

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть...

Нет, это не пойдет — финал трагичен. Может:

Из-под таинственной холодной полумаски
Звучал мне голос твой — отрадный, как мечта...

Пожалуй, это ближе к настроению. Но смущает слово «отрадный»...

И вдруг случайно, почти беспричинно из памяти выплывают строчки его «Казачьей колыбельной песни»:

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой...

Я не могу сообразить, отвечают ли они воображаемой сцене встречи. Скорей всего, нет. Но строчки помимо воли льются из души музыкой — немножко грустной, немножко светлой. Я пытаюсь понять: откуда эта музыка? Почему эта песня мне знакома? Где я мог ее слышать раньше?

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой...

И меня озаряет: эту песню пела нам, братьям, бабушка. Она училась в церковноприходской школе еще в начале

прошлого века. Когда ей было восемьдесят лет, она свободно цитировала наизусть целые куски из стихотворений Кольцова, Никитина. А «Колыбельную...» Лермонтова пела...

Вот как учили наших бабушек русской поэзии!

* * *

Лермонтов трижды проезжал на Кавказ через воронежский край. Однажды, в 1840 году, он отправился к месту службы с однополчанином Александром Гавриловичем Реми. Впоследствии попутчик и однополчанин поэта стал известным генералом. Погиб трагически в 1871 году в железнодорожной катастрофе. О совместной поездке на юг договаривались в Петербурге с еще одним товарищем по лейб-гвардии гусарскому полку Александром Львовичем Потаповым, который взял с Реми и Лермонтова слово, что они попутно погостят в его имении, в деревне Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии, куда он отправлялся несколькими днями раньше.

Потапов, происходивший из знатного генеральского рода и являвшийся внуком воронежского губернатора екатерининского времени, письменных воспоминаний о полковом товарище Лермонтове не оставил. Известно лишь, что некоторые сведения о поэте сообщил первому биографу Лермонтова П.А. Висковатому. В 1891 году тот издал книгу «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество». Из сообщенного Потаповым стало известно, что в Семидубравном Лермонтов сочинил музыку для своей «Казачьей колыбельной песни» и что ноты этого произведения находились в имении.

Впоследствии этот примечательный факт из биографии М.Ю. Лермонтова использует Ираклий Андроников в статье «Образ Лермонтова».

В 1877 году «Донская газета» опубликовала «Случай из жизни М.Ю. Лермонтова», записанный якобы неким автором, укрывшимся под криптонимом «Гр.», со слов покойного генерала А.Г. Реми. Из газетного сообщения следовало, что эта поездка для Лермонтова не была простой. (Кстати, в публикации называется дата — 1841 год, но исследователями — в частности, Г.В. Антюхиным, Б.Г. Окуновым и другими — на основании краеведческих материалов указывается 1840 год. — *Прим. авт.*) Поначалу Реми не хотел брать в попутчики поэта из-за его сложного характера. Лермонтов дал клятву вести себя в дороге мирно. Но когда то ли еще в Петербурге, то ли по дороге поэт узнал, что у полкового товарища в Семидубравном гостит к тому же его двоюродный дядя — генерал Потапов, слывший в среде офицеров свирепым «зверем», Лермонтов отказывался заезжать в деревню, отговаривал и Реми. Однако гусарское слово было дорожке непредвиденных обстоятельств. Опасения Лермонтова оказались напрасными. По сообщению той же газеты, когда после обеда Реми и Потапов-младший пошли зачем-то во флигель, поэт остался наедине с генералом. Каково же было удивление последних, когда они, возвратившись примерно через полчаса, увидели на одной из площадок сада сидящего на генеральской шее Лермонтова. «Оказалось, что “зверь” и до лихорадки боявшийся его поэт играли в чехарду», — пишет газета. Развязкой коллизии стали генеральские слова: «Из этого случая вы должны заключить — какая разница между службой и частной жизнью — будьте и вы такими же. На службе никого не пажу — всех поем, а в частной жизни я — человек, как и все».

«А.Л. Потапов, — заключает «Донская газета», — бывши на Дону атаманом, подтвердил этот рассказ».

...Некоторые исследователи высказывали предположение, что каприз Лермонтова объяснялся не боязнью поэта повстречаться с генералом-«зверем», а свободолюбивыми идейными настроениями. Из биографии генерала Алексея Николаевича Потапова следует, что он повел себя крайне верноподданнически в день восстания декабристов, 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, за что и был пожалован взошедшим на престол новым императором Николаем I званием генерал-адъютанта. Затем вошел в следственный комитет, который занимался делом декабристов, в августе 1826 года был произведен в генерал-лейтенанты... Лермонтову, симпатизировавшему декабристам, эти факты были известны.

Увы, как бы там ни было, история рассудила всех.

А мы благодарим судьбу за то, что поездка Лермонтова в Семидубравное в тот раз все-таки состоялась.

Все дни, проведенные в имении Потапова, Лермонтов был бодр и весел, музицировал и наверняка не единожды презентовал в собственном исполнении «Казачью колыбельную песню».

* * *

Воронеж... Степь... Тучи... Колыбельная песня...

Сам узнаешь, будет время,

Бранное житье;

Смело вденешь ногу в стремя

И возьмешь ружье.

Как это все мило и грустно, понятно и близко. И тревожно!

И — образ поэта как воплощение настроения. Скользит по небу тучкой из исторического небытия, чтоб хоть одним глазком взглянуть на город, в котором когда-то местная газета в хронике сообщала: в гостинице такой-то такого-то числа останавливался господин поручик М.Ю. Лермонтов...

Пытаюсь вместе с поэтом представить ту старину, и мне почему-то верится, что Лермонтову наверняка льстило, что он, автор стихотворения «На смерть поэта», несколько раз повторял маршрут своего поэтического кумира — Пушкина.

Но вот случился же парадокс истории! О Лермонтове губернская действительность оставила память в виде коротких строчек в хрониках «Воронежских губернских ведомостей» и в воспоминаниях современников. О посещениях же нашего края «солнцем русской поэзии» воронежские архивы молчат. Пока ни единой строки, кроме страстного желания местных краеведов разыскать хоть какое-то упоминание. И желание это постоянно подпитывается строчкой самого Пушкина из «Путешествия в Арзрум»: «Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине». С этим авторским признанием следы пребывания поэта в воронежских просторах затерялись. Живут, правда, легенды. Лично мне известны две.

Первую я услышал лет десять назад в старинном донском селе Нижний Мамон. Это примерно километров двести с небольшим на юг от Воронежа. Село растянулось на пятнадцать верст вдоль берега Дона.

В те годы, когда вечные странники русской литературы совершали поездки на Кавказ, в Нижнем Мамоне осуще-

ствлялась переправа через Дон. В наши дни здесь, в обыкновенной деревенской избе, располагается этнографический музей. В нем весьма даже уютно. Есть и уголок, посвященный А.С. Пушкину. Среди вещей и утвари привлекает старинный чайник. Местная экскурсоводша всегда увлеченно и с гордостью рассказывает, что именно из него нижнемамонский пастух угощал Пушкина чаем. «Иначе и быть не могло, — говорила она убежденно, — потому что другого пути на юг в ближайшей округе не было. Стало быть, Пушкин в нашем селе был!»

Наверное, жаль, что это — легенда! И наверное, это — счастье, что у села Нижний Мамон и у его жителей есть легенда: такие легенды помогают нам выжить, сохраниться в нынешних безжалостных тисках глобализма и вымывания мультимедийными технологиями из молодого национального сознания исторической памяти...

Вторую легенду о пушкинском маршруте по воронежским землям услышал летом 2012 года, в день рождения Александра Сергеевича. И совсем в другой стороне от исторического кавказского тракта — около Нововоронежа, в селе Олень-Колодезь. Местные жители убеждены: именно из их родников Пушкин пил студеную воду. Автор исторической хроники о Петре I не мог не захватить сюда, потому что наверняка знал, что в Олень-Колодезе император бывал не один раз. Почему бы не посмотреть на село, куда приезжал сам царь-корабель?

Поклонники красивой легенды даже установили на оличном взгорке памятный знак. Он напоминает чем-то треногу. На знаке — надпись о том, что через это село проезжал Пушкин. Ежегодно в день рождения поэта, шестого

июня, у этого знака собираются самодеятельные поэты из окрестных сел и из города атомщиков. Читают стихи, делятся новостями и впечатлениями. Приглашают в гости профессиональных авторов из Воронежа. В качестве гостя я и побывал на легендарном месте.

Конечно, жалко, что в Воронеже, кроме легенд, нет документальных свидетельств о пребывании Пушкина. И все-таки прочная незримая нить соединяет и роднит наш город с великим поэтом-странником. И этой связующей нитью, несомненно, является Алексей Кольцов, который был лично знаком с Пушкиным. Встречались они в Петербурге в 1836 году.

Их встреча — символический знак судьбы в литературной биографии Воронежа и в его историческом предназначении: быть не только транзитным пунктом русского свободного мысля, но и родиной отечественной поэзии.

Тогда в северной столице встретились не просто два поэта, но и два достойных сына Отечества. Дворянин и разночинец. Интеллектуал и самородок. Представители двух сословий, двух эстетик и культур... Один гениально переплавил застывшую, мертвевшую в строгих канонах классицизма дворянскую литературную традицию в живую, звенящую, солнечную энергию человеческого торжества. Другой вывел крестьянскую душу, чистую, как утренняя роса, звонкую, как речная струя, и вольную, бесконечную, как воронежская степь, за деревенскую околицу. И по ухабам, по большаку, по почтовому тракту дошла она, томящаяся в нужде и празднествах, буйстве и лени, в трудовом гнете и мироедстве помещиков, в веселой и грустной песне, в безответной, нежной любви и огневой, безрассудной пляске — до столичных бульваров.

Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел сам-друг
С косой острою;
Мне давно гулять
По траве степной
Вдоль и поперек
С ней хотелось...

Пушкин интуитивно рассмотрел в Кольцове родоначальника пробивающегося из глубин народного поэтического сознания самостоятельного литературного направления. Наверное, это же самое рассмотрели в Кольцове и воронежский книгопродавец Д.А. Кашкин, и семинарист А.П. Серебрянский, а также современники и друзья Пушкина: Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, В.Ф. Одоевский, П.А. Вяземский, В.А. Жуковский (кстати сказать, Василий Андреевич дважды встречался с поэтом в Воронеже в 1837 году — по дороге на юг в составе придворной свиты и обратно). А русские композиторы охотно создавали на кольцовские тексты музыкальные произведения. Но самое важное, что стихи и песни Кольцова принял простой народ, который и ныне поет их, не догадываясь, кто автор слов.

Странническая поэтическая судьба Кольцова, как и его великих современников, в век экспансии информационных

технологий поучительна: она не дает нам оторваться от истоков, от почвы, не позволяет просвещенному цинизму и прагматической выгоде от всего выкорчевать из народной памяти корни нашей духовности и культуры.

Особенно остро понимается это во время поездок по воронежской глубинке. Ни современные машины и агрегаты в поле, ни звук авиалайнера в небе, никакая другая деталь окружающего мира не способны компенсировать даже сотой доли настроения, которое мы получаем при общении с природой. Человек — природа — мир. Божественное триединство от Сотворения... Меняется материальная обстановка, на смену устаревшим приходят более усовершенствованные предметы быта, а человек, в сущности, остается собой: работает, гуляет, влюбляется, воспитывает детей, бывает — пьет, буянит и ленится. Ничего не поделаешь — это жизнь. Как во все времена. И во все времена у человека один и тот же проклятый вопрос: он над природой и миром властелин или природа и мир — над ним...

...Наверное, это глупо, нелогично, но почему-то и об этом тоже думалось мне в эти дождливые часы июльского утра, в моменты духовного и эмоционального сопряжения с «тучками небесными». Да и размах-то у Кольцова разве не схожий, не близкий лермонтовскому?! Вон куда замахнулся — «к морю Черному». Даже настырных юношеских амбиций не скрывал: давно ему гулять с косой «по траве степной... хотелось».

Оказывается, этот самородок-прасол в творческом полете способен был пронизать воображаемые поэтические пространства — как и Лермонтов: вечный изгнанник на земле и вечный избранник неба.

Остается сожалеть, что у Кольцова и Лермонтова не было встречи. Хотя каждый из них друг о друге, наверное, слышал. Интересно, каким бы могло быть их знакомство? Лермонтов — не Пушкин. Пушкин — певец земли и сердца, он с радостью поддержал такое поэтическое явление, как Кольцов. Лермонтов — певец неба и мятущейся души. Принял бы он Кольцова, рассмотрел бы в нем родственную странническую душу? Захотел бы пригласить в сообщество «тучек небесных»?

* * *

Летний дождь — капризное создание... Пока я любовался лермонтовскими тучами, пока готовился к мысленной встрече с поэтом, пока размышлял над строчками его стихов, к полудню ветер поменял направление. Горизонт очистился. И где теперь те чудные небесные пилигримы, которые всколыхнули сердце, разбередили, взволновали? В каких краях-пределах?..

Не в такой ли точно день 27 июля (по новому стилю) 1841 года у горы Машук предательская пуля прервала земной полет поэта?..

...А деревню Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии в годы советской власти переименовали в Новую Покровку Семилукского района. Вряд ли теперь различит ухо среди земных звуков этого селения мелодию «Казачьей колыбельной песни», которую Лермонтов написал здесь, в степной глуши, когда гостил в имении Потаповых...

Стану я тоской томиться,
 Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
 По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
 Ты в чужом краю...

2012

**«ЗДЕСЬ, ОДНАКО,
ПРОБУДЕМ ДВА ДНИ...»**

*Воронежский эпизод
в поездке А.С. Грибоедова в Персию*

Осенью 1818 года Александр Сергеевич Грибоедов в должности секретаря при царском поверенном в делах в Персии отправился на Кавказ. 18 сентября молодой дипломат сделал вынужденную остановку в Воронеже. Причиной задержки послужила поломка дорожного экипажа.

* * *

В Воронеже сентябрь, ранняя осень — удивительное для нашего города время года. Уже не жарко и пока не холодно. Горожане спешат по своим делам в лёгких курточках нараспашку. Всё вокруг дышит умиротворением и надеждами. Жёлтая листва если и встречается на тротуарах и у обочин дорог, то в весьма скурых количествах. Кажется, эта яркая солнечная благодать никогда не кончится.

Тончайшая, необъяснимо лёгкая грусть этих мгновений располагает к раздумьям. Хочется оставить мирскую суету и хотя бы на малую песчинку приблизить себя к пониманию, кто ты здесь, в этом дне, в этом месте, среди знакомых тротуарных дорожек из плитки, в тени лип и клёнов. Рядом в сквере, в нескольких десятках метров от тебя, памятник Петру I. Император, чей профиль легко угадывается за кудрявой листвой с едва уловимыми желтоватыми прожилками, будто следит величавым царственным оком за тобой, за прохожими. Вернее, это он так приглядывает за городом, в котором самолично строил и спускал на воду военные корабли, дабы отбить у турок выход к Чёрному морю. И от этого горожанам с царём-памятником чуть спокойней.

В такие сентябрьские мгновения душа сама тянется объять каждую неброскую деталь пейзажа. И кружащую в вышине птицу, чуть не задевающую крылом купола Благовещенского собора. И стрелки часов на башне ЮВЖД, отсчитывающие минуты человеческого бытия и целые эпохи в судьбе города. И монументальную незыблемость, аккуратность кирпичной кладки в небольших старинных постройках, разбросанных то тут, то там по холмистой окрестности в окружении безликих и вычурных новостроек.

Неторопливо спускаюсь от Петровского сквера к Чернавскому мосту. Чем ближе к руслу бывшей реки, нынешнему водохранилищу, тем волнительней на душе. К мосту у меня отношение трепетное, как к священному сооружению. Для меня он — живое существо, а хранилища его виртуальной памяти бесценны для потомков.

Построили мост в 80 годах XVIII века, в те самые времена, когда императрица Екатерина II подписала манифест

о присоединении Крыма к России. Около моста располагался Чернавский рынок. Улица Степана Разина называлась тогда Чернавским съездом. Нижнюю часть её народ величал Попово-Рыночной по имени тамошнего базара — Попова рынка, который размещался примерно в том месте, где в наше время пересекаются улицы Большая Манежная, Цюрупы и Сакко и Ванцетти. На тогдашней Попово-Рыночной улице селились богатые воронежские торговцы. Они возводили себе крупные особняки из кирпича.

Да, мост давно не деревянный, его старомодный кафтан потомки не единожды меняли на более респектабельные сюртуки. В послевоенную эпоху для героического моста, сильно пострадавшего и почти полностью разрушенного в жестоких сражениях за Воронеж с немецко-фашистскими войсками в 1942–1943 годах, отлили одежду из прочного железобетона. В постсоветскую бытность он принарядился в новый, сваренный по последней моде стальной костюм с замысловатыми опорами, растяжками и прочими атрибутами сложного инженерного и архитектурно-композиционного сооружения в контексте современного городского ландшафта. Но родовой символизм Чернавского от смены «верхней одежды» не прерывается. Мост помнит сотни, тысячи событий — незначимых и грандиозных, радостных и трагических, весёлых и горьких. В его перилах, ограждениях и пролётах промелькнули тени простых горожан и сановных персон, царей и губернаторов, рядовых и генералов, писателей и художников, сыльных и вольнонаёмных. Как мудрый старец — вечный хранитель некоего родового начала, соединяет он берега Воронежа, оставаясь неизменным символом духовной, культурной и нравственной целостности города.

Приближаясь к Чернавскому мосту, медленно, шаг за шагом будто бы погружаюсь в невидимые слои некогда живого, колготливого городского пяточка, с которого начинался путь либо на гору в город, либо в заречную сторону из города — к Придаче и далее уже в степь, к Битюгу, Дону. Другого места переправы просто не было.

Многое навевает мост, и от этого хорошо и заманчиво. Я понимаю, что это, конечно же, проделки нынешнего сентября, солнечного волшебника, который, не спрашивая, взял и перепутал всё внутри меня, сместил время и события, крупный план и детали, ощущения и разум, окутав тело, думы и чувства плотным золотисто-бирюзовым маревом, исходящим от водяной ряби водохранилища.

Двести лет назад, в сентябре 1818 года, по Чернавскому мосту проезжал Александр Сергеевич Грибоедов, случайный воронежский гость, заночевавший у нас по причине поломки брички. Наверняка мост помнит торопливый гул экипажа столичного путника и молодецкое поскрипыванье обновлённых, починенных мастеровитой рукой колёсных пар. Под их бойкий и ритмически слаженный аккомпанемент молодого дипломата увозила в чужую, далёкую Персию сама судьба, будто подсказывая мосту, кто едет, куда, зачем и кем незнакомец воротится назад.

Не могу судить, каким был в тот год сентябрь. Возможно, таким же солнечным и тёплым, как в минуты моей прогулки вниз по улице Степана Разина, а может — наоборот, ветреным и дождливым. Тем не менее, оба этих сентября на коротком уличном отрезке соединились во мне, взвихрились, рождая невероятные ассоциации, образы и картины в судьбе этого гениального соотечественника.

Вот ведь как получается. Житейская случайность в послужном списке поэта Грибоедова обернулась логической закономерностью многих важных событий в его биографии. Не откажись Александр Сергеевич в 1818 году от места чиновника русской миссии в США, не было бы и поездки дипломата через Воронеж на Кавказ. И не случилось бы поломки брички. И не ночевал бы А.С. Грибоедов в нашем городе. Не писал бы, наконец, отсюда письмо своему другу Степану Никитичу Бегичеву в столицу. И не было бы повода ни у меня, ни у моих земляков гордиться причастностью этого великого сына России к истории нашей малой родины.

События с карьерными парадоксами А.С. Грибоедова в том году развивались стремительно. Сразу за отказом от службы в Америке последовало назначение на должность секретаря при царском поверенном в делах в Персии. К месту службы поэт, не мешкая, отправился в конце августа. Как сам признавался в письмах с дороги, по пути на Кавказ он совершал короткие остановки в Новгороде, Москве, Туле и Воронеже. Далее путь начинающего дипломата лежал по донской казачьей стороне и кавказским предгорьям...

В десятках метров от Чернавского моста вдруг охватывает странное чувство беспокойства, оно несёт меня за горизонты реального, в мир воображения. Времени будто бы не существует, его границы размыты потоком фантазии. Кажется, здесь уже не наш сентябрь, а тот, из прошлого, и я ступаю не по ровненькой тротуарной плитке, а по не мощёной ещё мостовой Чернавского съезда. Почти рядом, в нескольких десятках шагов, — экипаж. Чувствуется: не местный — скорей, из столицы. Из него с озабоченным выраже-

нием лица выходит молодой барин в очках, о чём-то напряженно размышляя.

Боже, так это и есть Грибоедов!

«Беда, барин, — вроде бы доносятся до моего уха слова извозчика. — Нонеча с починкой никак не управятся. На завтра-ть обещаются починить».

«Нехороший знак, — раздражённо думает Александр Сергеевич. — До Персии вон сколько вёрст, а родная земля уже не отпускает! Теперь вот, сударь, будь добр, ночуй себе здесь».

В гостевом доме поэт первым делом берётся за письмо к Степану Бегичеву: обещал при первой же возможности сообщить другу о себе. И такая возможность появилась в Воронеже.

«Прощай, мой милый, любезный друг; я уже от тебя за 1200 вёрст, скоро ещё дальше буду; здесь, однако, пробудем два дни, ближе не берутся починить наших бричек». (Здесь и ниже ссылки на письмо Бегичеву С.Н., 18 сентября 1818 года. — *Прим. авт.*)

Грибоедов никак ещё не остынет от недавних столичных встреч и разгорячённых бесед...

«В Москве всё не по мне. Праздность, роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему...»

Он мысленно продолжает неоконченный спор — на что годен. И это его состояние понятно: дипломату всего 23 года, его сердце пылко и горделиво, оно жаждет побед и признания, душа рвётся к карьерным высотам и творческим вершинам...

«Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка,

который теперь вырос, много повесничал, наконец, становится к чему-то годен, определен в миссию, и может со временем попасть в статские советники, а больше во мне ничего видеть не хотят. В Петербурге я, по крайней мере, имею несколько таких людей, которые, не знаю, настолько ли меня ценят, сколько я думаю, что стою; но, по крайней мере, судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтоб на меня смотрели».

Особо занимают думы о литературе...

«В Москве совсем другое: спроси у Жандра, как однажды, за ужином, матушка с презрением говорила об моих стихотворных занятиях и еще заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого что я не восхищаюсь Кошкиным и ему подобными...»

Строчки из воронежского письма, будто сами бегущие по бумаге, торопят поделиться чувствами ещё вчерашними, отнюдь не сиюминутными и уж тем паче не завтрашними, хотя поэт буквально пропитан дорожными думами о своей комедии «Горе от ума». Но в письме из Воронежа об этом ни слова.

О задумках Грибоедова создать сатирическую комедию нравов С.Н. Бегичев знал изначально. По его признанию, уже в 1816 году поэт написал несколько сцен пьесы и читал их друзьям. К сожалению, первоначальные наброски не сохранились. План произведения в целом был схож с позднейшей редакцией, однако истинная роль Чацкого автору долго не была ясна до конца, Репетилов вообще в действующих лицах не значился, присутствовало также несколько иных персонажей, например, жена Фамусова, однако впоследствии они были исключены поэтом из текста комедии...

Александр Сергеевич, отставляя в сторону перо и бумагу, обращается к рукописи своей недописанной пьесы, ещё и ещё раз прочитывает сюжет в надежде выявить изъяны либо нестыковки. Более всего по-прежнему волнует главный герой, Чацкий. По задумке Грибоедова, это молодой современник, дерзновенный юноша с благородными и чистыми помыслами, но высший свет категорически не понимает его и не принимает.

Налицо вечная драма — конфликт детей и отцов, обращающийся под пером поэта в комедию нравов...

И, конечно же, первые проблески досель неведомого обществу явления — лишние люди...

Ещё не выписан, как хочется, его любимец Чацкий, и пушкинский Онегин только в замыслах, а лермонтовского Печорина вообще в помине нет. Но Грибоедов уже слышит шаги нового поколения, в нём всё напористей, громче звучит его голос. Это незнакомое племя рождается как бы из спор больного общества, из его замшелой морали и нравственности. Культ знания, внутренняя свобода и раскованность в поведении, критический, порой до циничности взгляд на окружающий мир, на устои предков отличают это поколение от предыдущих; и заостреннее в предрассудках и стремлении к личному благополучию старое общество, страшись перемен, отторгает его, делая изгоем всякого молодого нигилиста, осмелившегося посягнуть на святое:

Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется — враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний;

Или в душе его сам Бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным, —
Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывет у них мечтателем! Опасным...

Грибоедов хотел было написать Бегичеву о своих мыслях, но, заложник дорожной поломки, можно сказать, невольный воронежский пленник, он был крайне раздосадован дорожными неурядицами, с трудом сдерживал себя — какие тут откровения. Да и не время пока. Новые грани и повороты будущей комедии в минуты воронежских раздумий ещё туманны, как приречная пелена за окном гостиничного двора.

Александрю Сергеевичу понятно пока одно: это будет не просто весёлая, лёгонькая, как бы для развлечения публики вещица, где беспечно мурлычут про обыденные дела-заботы причудливые персонажи. Это будет жар, вулканическое пламя из недр его собственного сердца. Это будет портрет нового человека. Пускай в чём-то и автопортрет. Но разве возбраняется художнику списывать героя с себя? Чураться, стесняться нечего. Это ведь не образец бессловесного, рабского, как фонвизинский недоросль Митрофанушка и его прототип, которого Грибоедов уже окрестил в своих первых набросках характерной фамилией Молчалин, а изваяние образованного, честного, бескорыстного и потому раздражающего и вызывающего угрозу устоявшемуся порядку современника.

Грибоедов с горечью улыбается и, гримасничая, будто изображая кого-то из ближайшего окружения, ироничным шёпотом читает строчки из своего незавершённого произведения, обращённые устами Фамусова к Скалозубу:

...Вот-с — Чацкого, мне друга,
Андрея Ильича покойного сынок:
Не служит, то есть в том он пользы не находит,
Но захоти — так был бы деловой.
Жаль, очень жаль, он малый с головой,
И славно пишет, переводит.
Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом...

Александр Сергеевич в очередной раз, как и там, в Петербурге, с удивлением ловит себя на мысли, что по неведомой странности невольно обращается к комедии Фонвизина «Недоросль», будто бы сверяет плод своего творения с уже утвердившимся в русской литературе образцом для подражания. Его всегда восхищало мастерство Фонвизина, с каким тот выписал своих персонажей, особенно главного героя Митрофанушку. Bravo, Денис Иванович! Блестящий пассаж для потомков и филигранная лепка типажа в образе молодого лентяя, транжира отцовского богатства, чья жизненная энергия и философия существования заключены в примитивную формулу: не хочу учиться, хочу жениться.

Грибоедова и самого давно раздражает способность реальных Митрофанушек и Молчалиных приспосабливаться к внешним обстоятельствам, дабы извлечь корыстную для себя выгоду. Это они в большинстве своём и подвигли Александра Сергеевича взяться за перо. Ими давно переполнен столичный высший свет. Подобные типы, приветствуемые избранным обществом за их покорность, готовность терпеть любое унижение и неприкрыто льстить всякому, кто над ними имеет власть, занимают в обществе законное место умных, образованных граждан и лишают их возможности утвердиться и оказывать положительное влияние на ход событий...

Александр Сергеевич пожимает плечами, выдыхая:

Недаром жалуют их... государи.

И следом едко, будто констатирует очевидный факт:

А впрочем, он дойдет до степеней известных,
Ведь нынче любят бессловесных.

Последние месяцы поэт буквально физически чувствует омерзительную брезгливость ко многим, с кем сводят его житейские и карьерные обстоятельства: к брюзжащим в годах сановникам и их чопорным жёнам, к избалованным барчукам и барышням — недоученным, тупеньким и лишённым малейшего внутреннего желания образовываться. Их глупость сознательно поощряется, им создают условия для оной, дабы те жили по известной формуле отцов, которую поэт выразил в рукописи предельно ёмко:

Не надобно иного образа,
Когда в глазах пример отца...

Грибоедов ещё не явно, но уже интуитивно понимает, что его попытка написать сатирическую комедию возлагает на него особой тяжести груз: вслед за автором «Недоросля» вынести приговор неспособному к совершенствованию обществу. В своих творческих оглядках на старшего коллегу он не подражает, не повторяется, а развивает, углубляет тему, как бы подсказывая дорогу к нравственному очищению общества через образ Чацкого, чьи страстные саркастические монологи звучат как вызов существующим нравам и морали и чьими устами, кажется, глаголет новая истина:

И точно, начал свет глупеть...
Свежо предание, а верится с трудом,

Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом,
Стучали об пол не жалея!
Кому нужна: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть, как кружево, плели.
Прямой был век покорности и страха,
Все под личиною усердия к царю.

Грибоедов готовит себя к тому, чтобы противостоять этой мощной феодально-наследной порочности. Её апологетом и идейным радетелем в пьесе выступает управляющий в казённом месте Павел Афанасьевич Фамусов. Александр Сергеевич всерьёз рассчитывает при помощи комедии донести до думающих граждан Отечества мысль: фамусовская система ценностей порочна, губительна, она лишает перспектив будущие поколения и государство. Для многих именитых дворянских семейств кумовство, лесть, раболепство и цинизм притупили страх перед Богом, те бесстыдно устроили неприкрытый торг ближними, родственниками, человеческой совестью в корыстном достижении личного благополучия:

Что по отцу и сыну честь:
Будь плохенький, да если наберется
Душ тысячи две родовых, —
Тот и жених.
Другой хоть притче будь, надутый всяким чванством,
Пускай себе разумником слыви,
А в семью не включают.

Уже через несколько лет, по выходе пьесы, откровения Фамусова упадут в наэлектризованную и раздраженную сто-

личную атмосферу, до крайности напитанную новомодными якобинскими идеями, и, словно молния, взорвут её, доставив автору многие неприятности. Но ещё более общество всколыхнут монологи Чацкого. Молодые прогрессисты узнают в главном герое себя, представители высшего света вздрогнут от авторской наглости: это что себе позволяет сочинитель, откуда взял такого опасного выскочку Чацкого, с какой целью выдумал?! Уж не тащит ли всякую мерзость с чужеземья?

Действительно, А.С. Грибоедов, человек с блестящим европейским образованием, увлечённый, как и многие его современники, модной в России первой трети XIX века французской философией и литературой, страстно тянется к передовым западным идеям и творчеству зарубежных авторов. В их произведениях он находит созвучные, родственные мотивы, близкие ему по духу и смыслу.

В 1823–1824 годах, когда с позволения генерала Ермолова отпускник Грибоедов надолго задержится в Петербурге, поэт заново будет восстанавливать в памяти атмосферу высшего света, от которой отвык за долгие месяцы службы в Персии, и горячо, жадно станет писать по свежим впечатлениям всё новые и новые сцены комедии «Горе от ума». Другим и знакомым, не таясь, признается, что замыслил создать нечто подобное пьесе Мольера «Мизантроп», в которой главный герой Альцест, как и его Чацкий, представляет собой «злого умника», яростно обличающего пороки общества.

Весной 1824 года, продолжая находиться в отпуске, вместе с семьей Бегичева Александр Сергеевич отправится в имение Дмитриевское (Лакотцы) Тульской губернии Еф-

ремовского уезда и там продолжит работу над пьесой, чтобы уже летом по возвращении в столицу обнародовать её.

Петербург встретит комедию «Горе от ума» восторженно. Москва увидит в пьесе пасквиль на известных лиц империи. Разразится скандал, последуют доносы, будто бы комедия колеблет устои, оскорбляет дворянское сословие в целом. Хлопоты автора поставить пьесу будут обречены на провал...

Грибоедов встаёт из-за гостиничного стола и с язвительной дерзостью читает:

Мундир! один мундир! он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету...

«А что, — думает поэт, — поразительно точные портреты поколения. Дай Бог, не на один мой век хватило бы! На фоне ближнего окружения Фамусова мой Чацкий душенька! Отечеству теперь нужен иной литературный герой, свободный от пут классицизма, от его условностей и искусственных загоронок. Умный. Дерзкий. Готовый принять вызов».

Александр Сергеевич с почти мальчишеской беспечностью, совсем забыв, что находится в незнакомом городе и чужой гостинице, громко декламирует:

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь...

Затем спохватывается, что отвлёкся от письма Бегичеву, вновь берётся за перо и бумагу. Ему буквальным образом не терпится рассказать, какие мысли только что осени-

ли его, но снова колеблется. Нет-нет, пожалуй, не сейчас! Пока он весь на нервах от глупой, неуместной поломки в этом странновато-мрачном городе по имени Воронеж, за одноименной рекой которого на другом, пологом, берегу клубится даль, полная тайн, непредвиденных ожиданий и волнений, возмужания и стойкости...

Жаждающий жизненных и карьерных впечатлений, Грибоедов торопится в свою Персию — послужить Отечеству...

* * *

Справа от Чернавского моста взбираюсь на холм, долго всматриваюсь в туманную даль левобережья. Там — степь, извечный равнинный путь с русского севера на юг — к Кавказским горам и Чёрному морю. Всматриваюсь, а сам будто жду чуда: не мелькнёт ли в зыбком клубящемся пространстве между небесной синью и облаками тот самый после починки экипаж, который вот уже два столетия мчит и мчит Александра Сергеевича Грибоедова к месту службы, к месту гибели и к месту своего бессмертия.

И ничего, что его поездка в Персию в 1818 году была не совсем благополучной, а в письмах с дороги он не единожды рассказывал об этом своим адресатам. Например, в письме от 12 октября 1818 года из Моздока к русскому медику и дипломату, с 1818 по 1826 годы возглавлявшему русскую миссию в Тегеране, С. И. Мазаровичу поэт писал: «Как только будем вместе, расскажу вам пространно о всех дорожных наших бедствиях: об экипажах, сто раз ломавшихся, сто раз починяемых, о долгих стоянках, всем этим

вынужденных, и об огромных расходах, которые довели нас до крайности...»

Для меня в эти сентябрьские мгновенья не менее важно, о чём думалось дипломату и поэту и после устранения поломки, когда и Воронеж, слава Богу, был позади, и тихие, кроткие речушки со знаменитыми сосновыми рощами, покоровившими в своё время Петра I необычайной стройностью и пригодностью для строительства военных кораблей. Мысленно представляю, как Грибоедов переправляется через реку Дон, чьи стремительные воды отделяют край воронежского Черноземья от земель Области Войска Донского, и лихо катит в экипаже по степным трактам от одной казачьей станицы к другой. Уже и первые кавказские предгорья остаются позади. Ещё рывок — и будет он в Ставрополе, а там Моздок, Владикавказ, Тифлис...

Впереди Персия!

Почему-то верится, что по прибытии к месту назначения Грибоедов наверняка вспомнил в устных рассказах сослуживцам о воронежской поломке, чем забавлял себя в томительном ожидании починки. Может, даже поведал о мыслях, посетивших его в этом городе, про дальнейшую работу над комедией «Горе от ума».

Как дорожная пыль за экипажем, развеется недавняя горечь в душе, не оставив следа от неприятных дорожных приключений. Россия велика как держава, чего только не случается в беспредельных землях её. Всё это мелочи в предвкушении службы, в сравнении с тем, чего реально ждут от него в Петербурге, направив секретарём при царском поведении в делах в Персии.

От воображаемых мной признаний поэта становится

светло на душе. Главное ведь давным-давно произошло: частичка его души навечно осталась здесь, в старинных улочках города на спуске к реке, в суетливо-рабочем гуле Чернавского моста, в пойменной дымке у реки, в непоседливом эхе дней на холмах крутого Правого берега.

Грибоедов для меня — прежде всего гениальный русский поэт, определивший на века литературную традицию Отечества, а потом уже блестящий русский дипломат. Его комедия «Горе от ума» до сих пор будоражит ум, поражает правдивостью и актуальностью. Нет, это даже не комедия, это мифология, почти библейская калька человеческих типажей и страстей, не меняющаяся во времени.

За одним сентябрем приходит другой. Вереница лет кружит листопадами над памятью, а мысли всё те же и всё о том же.

Вот и теперь, когда я стою на холме и под бодрящий осенний ветерок будто прикасаюсь к чуду, обнаруживая в нём самого себя, лики родного города с его стариной, легендами и тайнами, меня, вглядывающегося в серебристую даль левобережья, с мальчишеской нетерпеливостью тянет обратиться к поэту: «Милостивый государь, любезный вы наш Александр Сергеевич! Зачем, зачем вы от избытка жизненных и духовных страстей, совсем не жалея себя, вывели эту горькую на все времена формулу: горе от ума? Без малого двести лет с вашей лёгкой руки человек пребывает в состоянии войны с умом и заигрывания с горем.

Возможно, было это не только в Отечестве нашем, возможно, повсюду и всегда, даже и до Рождества Христова, но именно с вашего сочинения из глухих, скрытых от постороннего глаза покоев человеческой души вырвалась на улицу

неприятнейшая забава: прилюдно потешаться над умом и бессовестно тупить, приветствуя глупость. Денег, положения у многих сегодня как у Фамусова, а приглядишься — кому завтра передадим ум, если кругом горемыки — в своей невежественности, душевной лени, интеллектуальном бесплодии и безразличии “к отеческим гробам”?

А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоты никто не знал и не учился?

Горе от ума — давно уже хроническая болезнь общества. Рецептов излечения по-прежнему нет, как нет и единого понимания главного генератора недуга — вашего Чацкого.

Как же по-женски пронизательна была Софья Павловна, бросив однажды Чацкому в укор:

...грозный взгляд, и резкий тон,
И этих в вас особенностей бездна...

Нет-нет, милостивый государь, это не Чацкому, отчаявшись, бедная женщина говорит, а вам. Вы — Чацкий, признавайтесь!

Что гений для иных, а для иных чума...

Зачем говорит она это? С какой целью судьба уготовила вам трагический путь дипломата и поэта? Был ли в том высший смысл или это всего лишь стечение случайных обстоятельств и событий, в ряду которых стоит наш Воронеж? Почему в одном сердце, в одной человеческой душе легко вместились “особенностей бездна”: сразу две судьбы и два

жизненно опасных выбора — быть дипломатом и поэтом, служить Отечеству и вечности?

Зачем с какой-то упрямой настойчивостью всплывают в моём воображении недавние исторические параллели?

...В декабре 2016 года в Анкаре вызывающе нагло, на глазах у посетителей выставки был застрелен террористом дипломат Андрей Геннадьевич Карлов.

...В феврале 2017 года в Нью-Йорке безвременно скончался Постпред России при Совбезе ООН, настоящий боец по характеру Виталий Иванович Чуркин. Дипломата настигла не пистолетная пуля фундаменталиста, его методично — до сердечного приступа — уничтожал коварный и циничный гибридный “боекомплект” современной западной демократии, поднаторевшей в борьбе с упёртыми и слишком самостоятельными. Казалось бы, ради чего было рвать сердце, упрямятствовать; трудись себе вполсилы, живи без душевного напряжения, с комфортом и уютom для семьи, как это делали представители фамусовского общества. А Чуркин выбирает другой путь — путь чести и преданности Отечеству. Впрочем, как ранее и вы. Вы ведь тоже тогда под угрозой личной смертельной опасности выбрали свой путь перед Богом и Отечеством: укрывали в русском посольстве православных армянских женщин от преследования исламских фанатиков, чего они вам не простили.

Не для них ли, своих будущих коллег-дипломатов, исходя из личного опыта, написали:

Когда ж постранствуешь, воротисься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен?..

Не довелось ни Карлову, ни Чуркину на прощанье вдохнуть полной грудью кристально-чистого, морозно-звеняще-

го воздуха Родины. Так и ушли от нас: один — на выдохе, на полуслове в искусственной кондиционерной прохладе турецкой столицы, другой — с глотком горьковато-давящей нью-йоркской атмосферы, настоянной на гари и копоти большой цивилизации.

Дипломатов оплакивают — я же весь мыслями с Грибоедовым...

Как же тут вслед за вами, любезный Александр Сергеевич, не вскричать:

Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит,
Не пожелал бы я и личному врагу...

В минуты таких раздумий ничего более верного не находится, как снять с книжной полки томик с вашим “Горем от ума”:

Ужасный век! Не знаешь, что начать...»

Жаль, что мы не можем сегодня детально судить, насколько серьёзна и небезопасна была в долгом кавказском путешествии воронежская поломка бричек Грибоедова. Таких сведений нет, в письме к С.Н. Бегичеву поэт об этом подробно не сообщает. Хотя мы понимаем, дело совсем не в поломке и даже не во впечатлении от нашего города в том двухвековой давности сентябре. Вспоминая поэта и дипломата, мы вольно или невольно, хотели бы этого или нет, переключаемся на его литературного двойника — Чацкого. Именно он — возмутитель нашей тревоги и источник нашего беспокойства, причина нескончаемых дискуссий в обществе.

Конечно же, это счастье для города, что в его историю

на глобальном по историческим и литературным масштабам фоне вписана строка из грибоедовской биографии: «здесь, однако, пробудем два дни». Не случись тогда дорожной коллизии, проскочил бы важный столичный чиновник чернозёмную столицу по касательной, только пыль столбом стояла бы...

Правда, спустя восемь лет, в 1826 году, Александр Сергеевич вновь будет проезжать через наш город на Кавказ. Даже проведёт в нём несколько спокойных дней в обществе своего родственника и сослуживца по Кавказу Паскевича. Светлейший князь Варшавский, граф Иван Фёдорович Паскевич, русский полководец, государственный деятель и дипломат, в 1817 году женился на сестре А.С. Грибоедова. Вскоре после воцарения Николая I «князь Варшавский, по значению своему в государстве, в среде русских подданных не имел себе равного». В 1826 году был назначен генерал-адъютантом и направлен на Кавказ «содействовать» А.П. Ермолову, которому царь не очень доверял в связи с делом декабристов, а последним, надо сказать, симпатизировал Грибоедов.

Вот как описывает эпизод очередной поездки поэта и дипломата на Кавказ Д.А. Смирнов в своей книге «Рассказы об А.С. Грибоедове, записанные со слов его друзей»: «Грибоедов высидел 4 месяца, пока тянулось следствие. Он был оправдан, и государь призвал его к себе и сказал ему: “Я был уверен, Грибоедов, что ты не замешан в этом деле. Но если тебя взяли наравне с другими, это была необходимая мера. Отправляйся к месту своей службы. Жалую тебя надворным советником и даю для проезда двойные прогоны”. Милость государя была чувствительна для Грибоедова. Он попросил у царя лист о пожаловании его чином и выдаче двойных

прогонов. Государь не отказал в этой просьбе. Где этот лист, куда он девался, неизвестно. Грибоедов отправился к своему посту вместе с Паскевичем, который был послан наблюдать, а впоследствии и сменить знаменитого Ермолова. Обстоятельства случайно поставили Грибоедова между ними. Связанный с Паскевичем узами родства, он был связан с Ермоловым узами дружбы. Зная скрытую цель поездки Паскевича, Грибоедов по врожденному чувству деликатности не желал, по крайней мере, приехать к Ермолову вместе с Паскевичем. Для этого он отправился в деревню к Бегичеву, предварительно сказавши Паскевичу, что догонит его в Воронеже. Грибоедов был твёрдо уверен, что Паскевич не дожждётся его, однако тот дождался».

Как видим, второе посещение Воронежа А.С. Грибоедовым проходило в иной эмоциональной и политической атмосфере. Вместо молодого порыва, душевного подъёма — усталость, вместо романтических ожиданий — разочарование и горечь. Это был последний визит поэта в наш город.

А в 1829 году через Воронеж в Петербург проезжала свита высокопоставленного персидского мирзы, чтобы выразить сожаление по случаю трагической гибели А.С. Грибоедова.

Символично, не правда ли?

* * *

Взирать на родной город в раннем сентябре с холма — редкое удовольствие. Полупрозрачная, приглушённая осенняя дымка стущёвывает детали, размывает черты, контуры, выпуклости, и город будто бы целиком вмещается в тебя —

со своим настоящим и прошлым. Ты не видишь конкретных предметов, лиц, ты просто ощущаешь их на уровне подсознания, воображения, интуиции. Ты даже не удивляешься, что в это же мгновение наряду с контурами городского бытия, безмянных человеческих лиц в твоих ощущениях вполне естественным, реалистичным образом присутствует и А.С. Грибоедов вместе со своими персонажами. Будто и не было двух столетий, которые отделяют нас от времени посещения поэтом нашего города и написания им комедии «Горе от ума», будто бы ничего не поменялось за эти долгие годы в человеческом обществе. Кажется, пройдишь по улицам, и тебе среди десятков, сотен лиц, знакомых и незнакомых, обязательно встретится грибоедовское «народонаселение». И перво-наперво среди оного — Чацкий. А то, глядишь, и у самого в груди сожмётся от нечаянно обнаруженного внутреннего сходства, словно бы в тебя уже давно переместился этот немеркнувший герой «всех времён и народов». И ты начинаешь явственно понимать, что два столетия, конечно, — достаточный срок, чтобы иного автора, даже некогда очень знаменитого, забыть и про его произведения вообще не вспоминать, однако с Грибоедовым этого не случится. По крайней мере, в наше время точно! И причиной всему опять же Чацкий.

Понятно, что автор списывал его с себя. Связывал с ним надежды на перемены в обществе, на рождение идеального человека. Однако его ожидания и чаянья не оправдались. Сам того не желая, поэт выпустил джинна из бутылки — и ни одна последующая эпоха не смогла отправить его обратно в этот сосуд.

Пока жив русский человек, Чацкий, наверное, всегда

будет среди нас, восхищая и раздражая, вызывая сочувствие или ненависть в зависимости от того, с кем в данное время, эпоху находится рядом этот персонаж. Он — наш ум и наше горе, он — двойник каждого из нас, наша вариативная социокопия на случай очередной мутации в переменчивом мире.

О Фамусове, его дочери Софье, Молчалине, Репетилове, Скалозубе, князе Тугоуховском с княгиней и шестью дочерьями, о Графинях бабушке и внучке Хрюминых, Загорецком и других персонажах комедии можно всерьёз и пространно не рассуждать. Их историческая, психофизическая и социальная статичность не верифицируется во времени и пространстве, не вызывает вопросы, споры и противоречивые оценки. Эти персонажи, по сути своей, — универсальная калька вечного неменяющегося большинства.

А вот Чацкий, как ни странно, беспокоит, не отпускает, притягивает, как магнит, который невольно таскаешь с собой изо дня в день на протяжении всей жизни. Возможно, это чувство живуче и от того, что моё поколение сформировано советским строем и его романтико-идеалистическими ценностями, а живём мы в жёстком капиталистическом мире, где меркантильная деловитость изъедает души современников корыстью и завистью, лишая возвышенного взгляда на всё, что окружает. Зато это даёт нам уникальный жизненный и отчасти цивилизационный опыт.

С одной стороны, мы по-прежнему в большинстве своём советские люди, которым официальное литературоведение внушало, что Чацкий — исключительно положительный образ, воплотивший в себе лучшие черты прогрессивной части русского общества первой трети XIX века, он одер-

жим благородными идеями братства, равенства и свободы. С другой — мы живые свидетели рождения новой, глобалистской действительности с её хищническим олигархическим оскалом, и духовно-нравственное, сущностное наполнение образа Чацкого дезавуирует советскую аргументацию, ставя многих в тупик. Действительно, кто он, Грибоедовский герой для поколения «пепси», «айфонов», «бумеров» и рэп-баттлов? Клёвый пацан, пример для подражания? Или Чацкий — всего лишь очередной исторический идеалист, жаждущий обеспечить гармоничное мироустройство на обличительных монологах без реального действия? Не о таких ли, как он, на Руси издревле молвили: говорун, пустомеля, трепач, балабол?

Сегодня мир как бы вновь погрузился в атмосферу времён Грибоедова. Мы живём в окружении персонажей из комедии «Горе от ума», но уже в иной содержательно-смысловой парадигме. Митрофанушки, Софьи Павловны, Молчалины, другие персонажи русской литературы являются носителями, если так можно выразиться, потомственно-олигархического инфантилизма. Типажи, подобные Чацкому, — наоборот, люди страсти и идеи; они образованны, пропитаны социальным скепсисом; они некие символы различного интеллектуально-эгоистического инфантилизма, от которого, в свою очередь, в результате общественно-политических и социально-культурных трансформаций регулярно отпочковываются его разновидности.

Нет, наверное, другого персонажа в русской литературе XIX и XX веков, кто бы, как Чацкий, постоянно не микрировал и не перевоплощался. Он угадывается повсюду: в пушкинском Онегине, в лермонтовском Печорине, в тур-

геновском Базарове, в Рахметове из романа Николая Чернышевского «Что делать?», в пьесах Александра Островского, в горьковских босяках — искателях Бога и вечной истины, оказавшихся, в конечном итоге, на дне жизни.

Даже в брежневскую советскую эпоху Чацкий засвидетельствовал своё присутствие. Прежде всего, среди персонажей прозы Юрия Трифонова. Наиболее явно — в образе главного героя романа Виля Липатова «И это всё о нём...» Игоря Игоревича, интеллигента-хлюпика, кто и в свои сорок лет оставался маменькиным сыночком, не способным на самостоятельный гражданский поступок. А потом, «погостив» у писателей перестроечных лет, Чацкий вместе с их героями успешно перекочевал в постсоветское пространство.

В феномене социальной мимикрии Чацкого заключается, пожалуй, самое неприятное предостережение потомкам. Со страниц художественных произведений этот герой почти сразу шагнул в реальную жизнь страны.

В годы русского царизма его обнаруживают среди анархистов, нечаевцев и революционеров. В советский период он мелькает в обществе эмигрантов, троцкистов, диссидентов. В годы развитого социализма замечается в кругу романтиков-пофигистов, блуждающих по тайге, тундре, горам и прочим географическим раздольям с гитарой наперевес и с рюкзаком за плечами и выражающих подобным образом протест против социальной и политической неустроенности в государстве. В наши дни площадкой для его самореализации всё чаще становятся театрально-концертные и эстрадные сообщества.

Интеллектуально-эгоистический инфантилизм современного Чацкого — атом, заключённый в замкнутое про-

странство коллайдера. Под давлением определённых общественно-политических сил и обстоятельств он тут же начинает распадаться на другие элементарные частицы человеческой среды. На одного посмотришь — вылитый глобалист-либерал, на другого — явный консерватор-почвенник, на третьего — точь-в-точь портрет яркого националиста либо исламского фундаменталиста. В четвёртом нет-нет да проглянет — в речах, во взгляде — подзабытое, но такое знакомое, почти родное лицо интернационалиста, будто наш герой из вчерашнего коммунистического далёка никуда не исчезал.

Бог знает, какими ещё физиономиями представлена портретная галерея Чацкого наших дней! Но кем бы ни был литературный герой в ту или иную историческую минуту, каждый его прототип одержим идеей «перековать» человеческие сердца по образу и подобию своему, не ограничиваясь в приёмах массового обольщивания.

Совокупность этих особенностей складывается в почти универсальную многовекторную формулу общественного явления.

Ум Чацкого — горе для него самого.

Ум Чацкого — горе для Фамусовых, Молчалиных, Репетиловых, Скалозубов и прочих персонажей как исторической ретроспекции, так и наших дней.

Ум Чацкого — горе для всех последующих поколений...

Изрекать слова, обличать, иронизировать, высмеивать, ёрничать совсем не значит создавать, строить, совершенствовать мир.

Поведенческий тип современных Чацких — естественная модификация постмодернизма в политике, общественной и духовно-культурной жизни, в быту и морали.

Наконец, ум Чацкого — исторический диагноз лично-му инфантилизму автора, излечиться от которого Грибоедову чудесным образом помогло конкретное дело — дипломатическая миссия в Персии, героическое служение Отечеству, сопряженное с опасностью и необходимостью принимать мудрые государственные решения самостоятельно, исходя из ситуации. Выздоровлению (взрослению) способствовали даже такие вполне житейские пилули путешественника, как частые поломки экипажей по дороге на Кавказ или задержки с лошадьми.

Желание скорейшего возмужания, освобождения от плотного родительского пригляда прослеживается в письмах поэта того периода явственно: «...мать и сестра так ко мне привязаны, что я был бы извергом, если бы не платил им такую же любовь: они точно не представляют себе иного утешения, как то, чтоб жить вместе со мною. Нет! я не буду эгоистом; до сих пор я был только сыном и братом по названию; возвратясь из Персии, буду таковым на деле, стану жить для моего семейства, переведу их с собою в Петербург» (Из письма Бегичеву С.Н., 18 сентября 1818 года).

Несомненно, Грибоедов совершил гражданский и литературный подвиг, подарив читателям своего Чацкого. И всё-таки жаль, что даже сегодня, в век Интернета и виртуальной реальности, в век колоссальных коммуникативных возможностей от присутствия таких персонажей, как Чацкий, веет холодом и одиночеством, и мы по-прежнему получаем неизменно горький результат в этой социально-психологической совокупности: горе от ума. Ум этих фигур от природы оригинален и контрпродуктивен, впечатляющ и бессмыслен, как яркий баннер на многолюдной городской улице.

Чацкими восхищаются в элитарных клубах и салонах, но современные Фамусовы в дело их не берут, предпочитая им Молчалиных.

* * *

Ах, сентябрь, сентябрь! Взволновал, растревожил.

Стою на вершине холма и не спешу возвращаться в реальность. Губы, вопреки воле, шепчут, как молитву: «Милостивый государь, дорогой пиит и дипломат Александр Сергеевич! Несколько лет назад капитально отреставрировали объездную дорогу вокруг Воронежа. В вашу бытность южный тракт лежал только через город по Чернавскому мосту. Теперь же столичным путешественникам нет нужды толкаться в плотных городских пробках. Наверное, для едущих из Москвы и Петербурга к Чёрному морю и на Кавказ это счастье. Для горожан — невосполнимая потеря. Именные соотечественники на суперсовременных транспортных средствах, а не на бричках, проносятся мимо со скоростью свиста. Ни следа от них, только шелест шин. Ни эзэмэски на память, ни электронного сообщения для местной истории. Про бумажные письма по почте вовсе помолчу. А служба, не дай Бог, поломка какая, так тут же, на трассе, служба аварийных комиссаров подхватит и отбуксирует к ближайшей автомастерской, которая также неподалёку, на дорожной обочине...

Однажды и мне довелось с ветерком промчатся по но-вёхонькой окружной от Чертовицка до Рогачёвки. Представляете, за каких-то полчаса, минуя Воронеж, его окрестности и знаменитый спуск к Чернавскому мосту...

А теперь, любезный Александр Сергеевич, представьте себе на минутку: помимо всяких знаменитостей по современной магистрали тянутся к югу десятки, сотни нынешних прототипов ваших героев. Например, Чацкий — на не самой дорогой, демократичной модели, скорее, седане. Как правило, либерал-западник, толерантнейшая — на словах, разумеется, — личность. В натуре же — получи власть — рука не дрогнет, чтобы огнём и железом по-необольшевистски выжечь из любого соотечественника патриотическую дурь.

Следом за ним по современной трассе М-4 “Дон” катит его двойник, антикопия с противоположным зарядом души — блюститель ещё тех, “времен Очаковских и покоренья Крыма” домостроевских нравов: ему тоже дай волю, уж точно бы разобрался в собственном доме, как жить и выстраивать порядки внутри и вокруг.

За этими двумя педантично, на рекомендованной скорости проедут на популярных, отечественной сборки иномарках сотенка-другая Репетиловых, Скалозубов, Тугоуховских, Хрюминых, Загорецких с жёнами, мужьями и чадами — эдакий офисно-фискальный планктон, покорно пашущий в столичных конторах.

Замыкают путешествующую кавалькаду потомки фонвизинских Простаковых и грибоедовских Фамусовых со светлым, на первый взгляд, и даже оптимистичным прозвищем — мажоры. Доучившиеся и недоучившиеся, по многу раз женившиеся Митрофанушки, любимые дочери Софьи Павловны с Молчалиными или без оных. На дорожниках пронесётся хозяевами жизни. Диковато для них, привыкли по заграницам на лайнерах, а тут санкции, папаша и мамаша опасаются за чад, вот и вынуждены к тёп-

лым краям за рулём на своих четырёх колёсах добираться... Да, да, любезный Александр Сергеевич, таковы они, современные недоросли, баловни судьбы, обладатели родительских кошельков. Зачем им какой-то Воронеж после европейских столиц?! По окружной прямиком к заснеженным вершинам Кавказа и солнечным пляжам Сочи, Пицунды, Ялты, так сказать, на очередной в году отдых от столичного ничегонеделанья...

На чём, правда, “прогромыхают” Фамусовы, даже затрудняюсь с фантазией...

Может, Александр Сергеевич, и хорошо, что все они мимо, мимо, мимо?

Мимо нашего города...

Мимо нашей провинциальной истории...

Всё равно ведь никакого следа не оставят...

А горя от ума и без них хватает — впрочем, как и от отсутствия оного!»

2018

А РАЗВЕ ВАМ ПЕСКОВ СЕГОДНЯ НЕ НУЖЕН?

Именитый земляк, писатель и журналист Василий Михайлович Песков живёт в моей памяти не только редкими встречами с ним. Не только его книгами, какие я покупал в воронежских магазинах, какие он мне дарил лично или когда я издавал их по областной программе книгоиздания, находясь во главе управления по делам печати и средств массовой информации Воронежской областной администрации. И, конечно, не только в нескольких фотографиях из моего семейного альбома, где на снимках Песков — гость «Молодого коммунара». На отдельных сюжетах — он из начально-тревожных 90-х годов. Тогда мы замыслили провести экспедицию «Молодого коммунара» и «Комсомольской правды». Цель — состояние реки Усманки, её экологическое благополучие или недуги. Но так и не отправились в речное путешествие: буквально через месяц в Советском Союзе случился августовский путч. На других снимках Песков в окружении друзей «младокоммунаровской» юности Бориса Ивановича Стукалина и Михаила Георгиевича Домогацких и воронежских коллег-журналистов нашего поколения.

После открытия в Воронеже 14 марта 2017 года памятной доски Песков со мной теперь и в живых городских буднях. Всякий раз, когда я прохожу мимо здания ЮВЖД — от подземного перехода вглубь проспекта Революции, — он смотрит на меня со стены Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Здесь в 50-е годы прошлого века Вася Песков учился на киномеханика. Я вижу знакомое, чуть-чуть усталое и вдумчивое лицо, и мне снова и снова хочется понять и самого Василия Михайловича, и его душу. Понять состояние мира, в каком жил Песков и какой оставил нам с надеждой, что этот, возможно, единственный и неповторимый уголок во Вселенной будет по-прежнему восторгать ландшафтами, освежать дыханием морей, окрылять степной бескрайностью, умиротворять белой берёз и целебной горной тишиной, вдохновляя на сотворение добра и света уже и после него.

Если честно, я не знаю, почему мне так дорог Василий Михайлович Песков. И уж точно не в первую очередь потому, что он выдающийся журналист и писатель, лауреат Ленинской премии и Почетный гражданин Воронежа. Это всё из протокольных, титульных понятий — как говорится, для истории и потомков. А если просто для отдельно взятого человеческого сердца и за пределами официоза...

Кто мне Песков?

По возрасту — одногодок моего отца: тот тоже был рождением из тридцатого года прошлого столетия, а значит, человек не моей эпохи и не моего поколения: он из эпохи, чьё историческое время, по сути, завершилось. Но я хочу верить, что у каждого из нас гипотетически есть надежда по делам своим земным и Божьим добавить к бесконечному,

объективно-вселенскому со-движению толику и своего личного, субъективного времени. Эта мысль меня давно занимает в поэтических раздумьях над трудными вопросами бытия. Вот несколько строк из поэмы «Ячмёнка»:

Там дни за днями в годы,
Теснясь, наверняка
Вливаются, как воды,
В могучие века,
А те потом — в эпохи,
И — сплошь поток времён...
Жуку и мне с Терёхой
Найдётся место в нём!
Найдётся даже пчёлке
С букашкой наравне.
И этой всей ячмёнке
В потерях на стерне...

Так что личное время Пескова никуда не ушло, не кончилось, не потерялось на извилистых тропах, по которым прошёл наш неутомимый путешественник и открыватель. Оно естественным образом, как приток с чистойшей хрустальной водой, влилось в мифическую Лету, соединив себя с общим потоком бытия, и посылает оттуда нам сигналы. Просто у большинства ушедших импульсы индивидуального послеземного существования настолько ничтожны, что уловить их и распознать тем, кто живёт здесь и сейчас, в конкретном месте и в конкретном времени, пока не по силам. А сигналы В.М. Пескова легко угадываемы в современных жизненных ритмах и созвучиях своим провидческим предупреждением: не сбережём окружающий нас мир —

жди катастрофы. Они угадываемы через его книги, поколенческую любовь к нему. Через память о нём. Через его особую, напитанную, словно живительными родниками, добрую, возвышающую энергию, что проникала в подсознание сотен, тысяч современников, кто разделял пафос его слов и поступков, философию его жертвенного, в пример другим, отношения к жизни и всему сущему на Земле. Это и делает духовный и нравственный мир, личное время Пескова осязаемыми, объективными и реальными, будто этот человек никуда не уходил. Был образцовым, в назидание нам, воплощением природы, так и остался им. Разве что теперь в том его времени-пространстве — иные горизонты в постижении вечного и брэнного, бытия и сознания, обретений и потерь. И координаты этих интеллектуальных и эмоционально-чувственных параллелей определяются не известными нам земными мерками, а поверяются другими индикаторами и смысловыми дистанциями, где, выражаясь лермонтовским словом, «звезда с звездой говорит» и где «за веком век бежал / Как за минутою минута...».

Возможно, в трепетном моём отношении к Пескову отчасти кроется эгоистичная профессиональная корысть: я горд, мол, что, как и он, — тоже выходец из «Молодого коммунара», из газеты, которую Василий Михайлович любил, помнил и всегда, десятилетиями, пока та существовала до лета 2015 года, непременно навещал по приезду в Воронеж. Может, и так, если по канонам формальной логики исходить из причинно-следственных связей. Но это условное объяснение. В нём, как в айсберге, видна только поверхностная часть моего погружения в песковский мир; основная, глубинная скрыта под океанскими течениями бытия.

Зачем мне Песков сегодня?

Василий Михайлович явно не герой из нашего тупикового времени, где порядком поубавилось сердоболия, доброты и справедливости, где невежество и скудоумие бессовестно выставляют на публичное обозрение, как болезненно-тщеславный постмодернист-художник для авторской инсталляции вываливает груды битых кирпичей и прочего строительного мусора в выставочном зале, выдавая хаос своих художеств за гармонию современного искусства.

Безусловно, Песков не герой времени, в котором миллионы людей обожаемого, воспетого, обоготворённого писателем мира голодают и изнывают от недостатка питьевой воды, а избранные мира сего жируют и стяжательствуют, помышляя о технологиях (страшно в этом признаться!) истребления большей части человечества, чтобы избежать всемирного кризиса пропитания.

Конечно же, он не герой времени, в котором молодёжь почти не читает умных книг, предпочитая бумажным страницам облегчённую версию с информационным попорном на экране айфона, и наверняка не слышала о чуде, завещавшем после смерти развеять его прах над Воронежским биосферным заповедником.

Песков по жизни и творчеству — носитель вечной традиции. Вместить Пескова телом и духом в суматошное, стиснутое пространство текущего дня, где всё на злобу и всё по злобе, означает одно: не понимать истинного предназначения этого человека для нас и мира.

Как ни странно, в Пескове я нуждаюсь именно сегодня. Наверное, чтобы я мог осмысленно и избирательно, а не каждодневно и потребительски жить в своём времени и

в своём мире. Василий Михайлович для меня будто земля, небо, почва, вода и воздух вместе взятые. Большинство людей живёт, противопоставляя себя природе, как главный герой тургеневского романа «Отцы и дети» Базаров. Песков жил, наоборот, с ощущением органичной, неотъемлемой части природы — и той, что мы называем планетой Земля, и той, что над нами возвышается: днём в ясную погоду — Солнцем, безоблачными ночами — несметными созвездиями и единственно преданной земной спутницей Луной. И эта одномоментная, полная, осмысленная до самозабвения растворённость в природе на протяжении всей песковской жизни подчёркивала его неповторимость, непохожесть, избранность перед нами и его первородную детскость перед временем и пространством. Его нельзя оторвать, отодрать, выдернуть с корнем из российской и мировой действительности, из времени суток или времён года, географических поясов и меридианов, он и есть этот мир во времени.

Такое состояние духа позволяло Пескову жить сразу везде и всюду: быть речкой детства Усманкой; росой на луговой траве или роцей на холме; муравьём, редким видом журавля — стерхом или страусом; кедром из сибирской тайги, американской секвойей или африканским баобабом; черноземной степью, песками Сахары или камчатским вулканом; вырвавшимся чудом из фашистского плена советским летчиком Михаилом Девятаевым, членом команды судна «Башкирия», спасавшего советских зимовщиков в Антарктиде, или старовером семьи Лыковых, скрывавшихся десятилетиями в горах Алтая от агрессии внешнего мира и безбожного времени...

Потому-то и кажется мне: есть что-то сокровенное в том, что памятная доска Василию Михайловичу Пескову в Воронеже помещена на здании колледжа. Может быть, именно здесь увлечённый и беспокойный юноша, постигая профессию киномеханика, впервые через объектив камеры разглядел божественное величие мира, ощутил магнетическую тягу времени и уловил чутким сердцем зов природы.

...А разве вам Песков сегодня не нужен?

НЕПРОТОКОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Широко отмечать своё 85-летие в Воронеже Егор Александрович Исаев не планировал: не отпускали столичные торжества. Ограничился практически однодневной поездкой на родину для участия в инициативе местных властей. В преддверии юбилейной даты правительство Воронежской области спешно утвердило литературную премию для молодых поэтов, назвав её соответственно — Исаевской. Замысел состоял в том, чтобы именитый земляк вместе с губернатором А.В. Гордеевым 2 мая лично вручили диплом новой премии лауреату. Им, по оценке конкурсной комиссии, стал молодой поэт Алексей Ряскин. Событие было пышным, проходило в зале заседаний правительства. Остальные почести и юбилейные встречи переносились на июнь...

И вот в первые же дни июня звонят мне из департамента культуры: завтра надо бы выступить от журнала «Подъём» на встрече с Е.А.Исаевым в областной библиотеке имени И.С. Никитина.

Мои мысли заработали в экстремальном режиме: что говорить и о чём? Исаев — человек яркий, неординарный, удивить его практически невозможно, а произносить банальности крайне не хотелось. Как, впрочем, и повторяться. Дело в том, что у меня есть стихи про Коршево — малую родину Егора Александровича, и я их уже дважды читал в исаевской аудитории.

Первый раз это произошло в подмосковной Сходне в мае 2006 года. Туда нас с руководителем управления культуры области И.Д. Образцовым отправили по поручению губернатора области В.Г. Кулакова, чтобы представлять Воронежскую область на торжественном собрании по случаю 80-летия поэта. В микроавтобусе «Фольксваген» почти весь путь от Воронежа до Москвы наскоро писал текст короткого поздравительного выступления и заучивал стихи, которыми оно, по моей задумке, должно завершиться:

А где оно, это Коршево?
А там, где весной Битюг
Несёт ледяное крошево —
Творение зимних вьюг.
То ёршики, то карасики
Резвятся в волне речной.
Девчонки играют в «классики»
На солнышке за избой.
Мальчишки знакомой тропкою
Спускаются на улов...
Даль памяти — над пригорками!
Суд памяти — от крестов!
Воткнув посредине улицы
Для коз деревянный штырь,
Весна, от света сощурившись,
Выходит в степную ширь.
Играйте, девчонки, в «классики»!
Мальчишки, готовьте сеть!..
Тут раньше рождались классики,
А хочется, чтоб и впредь.

В актовом зале академии туризма по очереди речь перед юбиляром держали знатные люди: политики В.И. Вороников и Г.А. Зюганов, известные российские литераторы, включая Ю.В. Бондарева, несколько академиков...

Когда очередь дошла до земляков Егора Александровича, своё слово со сцены актового зала я произнёс, помнится, без запинки и с выражением. Следом говорил Иван Дмитриевич Образцов. И как раз в эти мгновения из ближних рядов зала несколько раз неслось: «Ва-а-ня-я!.. Щё-ло-ков!» Это был московский поэт Михаил Шевченко, наш земляк, уроженец Подгоренского района. Мне было крайне неловко от такого «вероломства» в протокольный лад, и я по возможности незаметно жестом левой ладони подавал Михаилу Петровичу знаки — потом, мол, поговорим. Но тот, видимо, не понимал смысла моих помахиваний или не хотел соблюдать официальные тонкости, и снова по залу летело: «Щё-ло-ков!.. Ва-а-ня-я!..»

На фуршет притомлённый двухчасовым ораторством народ повалил, устроив у входа чуть ли не давку. В дверном проёме кто-то сильно хлопнул меня по плечу. Оборачиваюсь — Геннадий Андреевич Зюганов. «Молодец! — говорит он мне. — Хорошо выступил».

За праздничным обедом воронежцы оказались за одним столом с Юрием Васильевичем Бондаревым, его супругой и издателем двухтомного собрания сочинений Е.А. Исаева Геннадием Александровичем Лебедевым...

— Посмотри, какие живые глаза у него! — несколько раз окликал жену именитый прозаик и показывал на меня...

Нежданное знакомство с советским классиком не окончилось застольным общением. Через три с половиной года меня направили работать в журнал «Подъём». Дважды как главный

редактор я звонил Ю.В. Бондареву домой по поводу продолжения публикации его философских записей «Мгновения». Беседы были радушными и уважительными со стороны мастера, он охотно передавал нам рукописи для публикаций.

В июле 2013 года «Литературная газета» опубликовала страницу, посвящённую «Подъёму». Незадолго до этого я обратился к Ю.В. Бондареву с просьбой коротко высказать своё мнение о нашем журнале. Юрий Васильевич охотно согласился и тут же по телефону надиктовал вот такие слова: «За публикациями в “Подъёме” слежу давно. Меня особенно привлекают материалы авторов, хорошо знающих болевые проблемы отечественной культуры, истории и современной политики, с гражданской озабоченностью отстаивающих духовные, эстетические ценности народа, накопленные не только в предыдущие столетия, но и в недавнее советское время. Как правило, в таких публикациях содержится немало убедительных аргументов, пусть иногда спорных, но их мотив, напористый и честный, свидетельствует о стремлении читателей защищать в нынешнюю пору тотальной бездуховности и цинизма эти ценности. Полагаю, что такая позиция журнала позволила ему обрести немало последователей и единомышленников. Подтверждением тому — целевые публикации в творческом проекте, посвящённом малым городам Черноземья, вызвавшем большой резонанс среди общественности не только воронежского региона, но и других областей России. Это обстоятельство наряду с другими стало знаковым в определении творческой репутации “Подъёма”, выдвинув его в число лучших литературных журналов, издающихся в провинции».

А ещё ранее, в декабре 2010 года, через наш журнал по поручению властей региона мы переводили деньги писателя за звание лауреата всероссийской Платоновской премии, которую учредили на воронежской земле газета «Коммуна» и Союз писателей России.

Тут уместно сделать короткое отступление по поводу истории названия премии. В Воронеже и раньше премии называли Платоновскими. У журналистов она в трудные девяностые продержалась недолго. Позже именем писателя назвали премию областного управления культуры. Даже вручали несколько лет местным литераторам. Но традиции не сложились: и кандидатуры быстро исчерпались, и формальный подход поборол организаторов. Тем не менее, имя Платонова не отпускало. И в преддверии 110-летия со дня рождения писателя газета «Коммуна», в редакции которой в 20-е годы прошлого века работал будущий классик мировой литературы, объявила об учреждении литературной Платоновской премии, замыслив ее общероссийской по масштабу.

К сожалению, и жизнь «коммуновской» премии оказалась короткой. Ю.В. Бондарев был её единственным обладателем. Средств у газеты не оказалось, богатые земляки на просьбы не откликнулись. Пришлось обратиться в правительство области. Там согласились выплатить деньги известному писателю из областного бюджета, но только в обмен предложили уступить название премии: к тому времени уже было принято решение о проведении в Воронеже ежегодного Международного Платоновского фестиваля с вручением Платоновской премии в области литературы и искусства. Кстати, первым лауреатом обновленной «платоновки» стал известный российский прозаик из Волгограда Борис Петрович Екимов...

...Второй раз стихи, посвящённые Исаеву, я уже читал в коршевском Доме культуры в июне того же 2006 года. На малой родине было устроено грандиозное чествование земляка. Приехали губернатор и многие высокопоставленные чиновники из области. Чтение мною стихов о селе Коршево организаторы внесли заранее в сценарий. А у меня накануне, как назло, голос пропал. Дни для июня стояли на редкость жаркие, попил ледяной минералки, и моё с детства неустойчивое к холодным молочным продуктам, газированным напиткам и прочим сильно охлаждённым жидкостям горло мгновенно дало о себе знать. Ну, куда мне с такой сипотой да ещё со стихами! Подошел к заместителю губернатора, объясняю, что и как, но кому из подчинённых нужны на голову лишние хлопоты: «Это ты решай с шефом — он лично одобрил сценарий и выступающих». Улучив момент, прошу В.Г. Кулакова. «Ничего страшного, — улыбается. — Читай, Егору Александровичу и коршевцам будет приятно».

Ожидая выхода на сцену, лихорадочно придумывал «режиссёрский» ход, чтобы максимально скрасить конфуз с отсутствующим голосом. «У меня есть три повода считать себя человеком своим для бобровцев и коршевцев, — обратился в зал. — Мой отец в 60-е годы в селе Красный Лог дружил с участковым, а милиционер был родом из Коршева. Звали его Владимир Колотушкин. Егор Александрович говорит, что помнит его... Брёвна, из которых построен наш дом, отец привёз из Бобровского лесничества. Ну и, наконец, мой зять родом из Боброва». Селяне дружно зааплодировали. Доволен был и сам юбиляр. Под такое доброжелательное расположение аудитории я и просипел стихотворное посвящение...

И вот через пять лет, в очередную заметную дату Е.А. Исаева, — и опять читать стихи о Коршеве! Наверное, глупей не придумаешь.

Этот вариант я начисто отмёл. Долго и мучительно фантазировал на тему предстоящего выступления. И только поздно вечером меня неожиданно осенило: что если поразмышлять на тему сенокоса в классической русской поэзии?! Примеров много не нужно. Достаточно сравнить строчки из произведений поэтов, чья творческая судьба связана с Воронежским краем. Остановился всего на трёх именах — Алексее Кольцове, Александре Твардовском и Егоре Исаеве. Идея мне показалась необычной для юбилейного формата; я подумал, что она наверняка приглянется Егору Александровичу: не прямая лесть, не стыдливое признание в любви к творчеству, а сравнение и анализ в контексте выбранной темы.

В актовом зале Никитинской библиотеки народу набилось битком. На сцене, как в достославные советские времена, — несколько столов, накрытых скатертью. В президиуме — санные люди во главе с руководителем департамента (бывшего управления) культуры Иваном Дмитриевичем Образцовым.

Доходит очередь говорить и мне. Выхожу за трибуну, кладу перед собой написанные листы, начинаю формулировать цель своего краткого выступления. Исаев напрягся и с любопытством смотрит из президиума на меня. Дохожу до отрывка про сенокос из его поэмы «Даль памяти». Читаю по возможности с выражением и смысловыми интонациями. И вдруг Егор Александрович вскакивает и громко говорит в зал:

— Я — человек непротокольный. Я тут не знаю, как и что у вас. Щёлоков прочитал мои строчки, теперь я хочу сам!..

Резко отодвигает стул и идёт от стола к трибуне. С ходу, без

подготовки, на память читает этот же отрывок. Читает страстно, до мурашек по коже, как он умеет. Все, кто знал Исаева, согласятся: в такие моменты неважно, перед кем он читает — перед лордами в английском парламенте или перед Президентом России В.В. Путиным в Кремле на церемонии вручения государственной награды. За стол не возвращается. Говорит, говорит, не обращая внимания на робкие попытки председательствующего вернуть встречу в русло утверждённого сценария.

Но — тщетно! Пока юбиляр не выговорился, сделать этого так и не удалось...

Не удалось и мне до конца выступить по заявленной теме: Егор Александрович любезно «скушал» лимит моего времени. Когда он читал свои стихи, я тихо стоял в стороне от трибуны, не зная, что делать и как себя вести. А когда он и вовсе перешёл к долгим публичным размышлениям на волнующие его вопросы русской литературы и жизни, я скромно спустился по ступеням и занял своё место в зале. На следующий день газета «Воронежский курьер» в небольшой заметке про юбилей Исаева с лёгкой иронией написала о казусе со срывом официального сюжета мероприятия.

Текст моего выступления на встрече с Е.А. Исаевым по случаю 85-летия поэта, к счастью, сохранился в компьютерных файлах. С удовольствием приведу его здесь.

«Много добрых слов прозвучало о юбиляре. Много прозвучит. О многом говорили мы с ним при встречах. И я думаю: о чём скажу в эти минуты? Не удивляйтесь: буду говорить о сенокосе. Точней, о мотиве сенокоса в творчестве Егора Александровича Исаева — в частности, в поэме “Даль памяти”. Через тему сенокоса прослеживается глубинная,

корневая связь поэта с малой родиной. Она осмысленна автором так, что от строк таких веет не только степью, временем, родиной, но и космосом.

Надо сказать, тема сенокоса в современном отечественном литературоведении изучена слабо. Возможно, это связано с тем, что нынешнее поколение филологов ни разу не держало в руках обыкновенную косу и не представляет самого захватывающего деревенского трудового действия. А потому оно, это поколение, не понимает духовного и нравственного смысла заготовки сена для домашних животных, не видит красоты и символичности в процессе кошения травы на лугу даже в условиях высоко информатизированного общества. В результате современный специалист по литературе никак не мотивирован на научный поиск по этой теме. Однако изучать, анализировать, сравнивать есть что. В поэзии, например, объектами исследования могут являться произведения Алексея Кольцова, Николая Некрасова, Сергея Есенина, Александра Твардовского, Михаила Исаковского и многих других авторов. В прозе — это, конечно же, романы Льва Толстого, Михаила Шолохова, писателей-деревенщиков... В этом ряду достойное место занимает творчество Егора Александровича Исаева. Он — яркий и самобытный продолжатель русской классической традиции.

Вот строки вступления к главе “Посвящение в мужики” в поэме Егора Исаева “Даль памяти”:

И грянул праздник!
Радостную душу
Ты не жалея, а телом пропотей!
Их было — помнишь? — тридцать девять
Дюжих,
В рубахах белых, ладных лебедей.

Зарю на грудь!
И — звончато и нежно —
Ходи, ходи,
Оглаженная сталь!
Не жаль косы, росы не жаль, конечно,
Да только вот цветов немного жаль.
Жаль красоты!
Эх, кабы не сугробы,
Эх, кабы там не чичер ледяной,
Эх, кабы кнут пастушеский,
Да чтобы
На все двенадцать месяцев длиной!
Эх, кабы так...
А то ведь как озлится
Сама зима, уж чем ни увещай,
Возьмет свое —
Оставит, чтоб побриться.
А потому-поэтому:
Прощ-щай!
Прощ-щай, цветы,
Прощ-щай, густые травы,
Ложись под ливень с правого плеча!

Разве не слышится в этих строчках что-то такое родное, до сердечного щемления, что-то буйное, разудало-могучее, с выплеском за горизонт, оттуда, из века девятнадцатого, от чумацких троп, от ночей у прасольского костра, от дерзновений юноши Алёши Кольцова, посягнувшего в ослушание отцовской воли стать певцом степных просторов?

Это он ведь, Кольцов, вывел русскую народную поэзию за деревенскую околицу и пронёс её до столичных бульваров и перекрестков, к средоточию людской цивилизации.

Его поэтический сенокос так же естественно звучал в Петербурге, как и на лугах среди бескрайних воронежских раздольий:

Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел сам-друг
С косою вострою;
Мне давно гулять
По траве степной
Вдоль и поперек
С ней хотелось...
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Как пчелиный рой!
Молоньей, коса,
Засверкай кругом!
Зашуми, трава,
Подкошенная;
Поклонись, цветы,
Головой земле!

Обратите внимание на одну маленькую деталь: певец в силу своей природной гениальности как бы невзначай, но провидчески роняет: «не один пришел» и что «...давно гулять по траве степной... хотелось...». То есть явление Кольцова как поэта, олицетворяющего собой народ, его душу, — закономерное, выстраданное, востребованное конкретными историческими обстоятельствами в преддверии отмены крепостного права. И пусть он так и не освободился от поэтической и песенной традиции народа, певец сделал главное: творчески соединил в себе духовную стихию масс и неповторимую авторскую индивидуальность. Грубо говоря, представил нам вариант авторского фольклора. Примерно, как Бёрнс в шотландской литературе.

На протяжении XIX и XX веков кольцовская поэтическая традиция жила, развивалась и находила своих последователей. Эта традиция подарила России Некрасова, Есенина, Клюева, Твардовского, Исаковского, Тряпкина, Бокова, Исаева... Их поэзия наиболее концентрировано вобрала в себя лучшие духовные начала русского крестьянского самосознания...

Эта традиция не прерывается и по настоящее время, потому как не может не существовать то, что живёт в поколениях, в сердце народа, в его генетическом коде, в духовных исканиях и вековых представлениях о справедливом мироустройстве.

В век ошеломляющего роста компьютерных технологий, слома привычных коммуникационных связей между людьми, народами, странами и континентами, в век господства постмодернизма воронежцы вновь и вновь обращают себя к нашим духовным и культурным истокам. Как яркий пример тому — творчество Егора Александровича Исаева.

Возвращаясь к теме сенокоса, перекинем мостик от Алексея Кольцова к ещё одному непревзойдённому певцу русского простора — Александру Твардовскому.

Хозяин оглянулся виновато
И подмигнул бедово: — Что, как дождь?.. —
И гостя с места на покос сосватал:
— Для развлечения малость подгребешь...
Мелькали спины, темные от пота,
Метали люди сено на воза,
Гребли, несли, спорилася работа.
В полях темнело, близилась гроза.
Гость подгребал дорожку вслед за возом,
Сам на воз ношу подавал свою
И на вопрос: какого он колхоза?
Покорно отвечал: — Не состою...

Картина сенокоса в стихотворении “Гость”, с деталями и диалогами, последовательность изложения действия Твардовскому нужны, чтобы ярче, убедительней подчеркнуть мужицкий спор между колхозником и единоличником о своем будущем: вместе-то спорей, веселей, полезней... И здесь сенокос — уже как аргумент политики, часть идеологии, а не только специфический трудовой процесс в извечном крестьянском укладе. И Твардовский знал это, сознательно использовал этот художественный прием.

Более глубокий смысловой оттенок темы сенокоса в его поэме “Дом у дороги”.

Здесь сенокос у Твардовского — философия. Естественное вековое, мирное мужицкое единение с природой. Будет сено — будет лад, сытость, покой в семье, радость родным, жене, детишкам. Не состоялся сенокос по причине, напри-

мер, стихийного бедствия, войны — голод, нужда, мытарства... И вот на пороге действительно война, и надо неволь-но прервать эту вековечную цепь гармонии, данной челове-ку природой и Богом. Главный герой Андрей Сивцов остав-ляет сенокос, уходит защищать семью, родину и свой крес-тьянский труд.

И рефрен, позаимствованный автором в народных при-словьях, от раза к разу звучит не так наивно и невинно, а по ходу сюжета все трагичней и больней: война, плен, кровь... Какая уж тут роса, какая коса! Нарушен, варвар-ски прерван привычный ход жизни!

Коси, коса, пока роса,
Роса — долой и мы — домой...

А закончить стихотворные примеры хочу строчками из своей поэмы “Роман без знака препинанья”. Егор Алексан-дрович читал поэму ещё в рукописи, отозвался одобритель-но, похвалив автора, будто бы ему удалось правдиво и образ-но передать тему сенокоса, верней, обучения этому важно-му деревенскому делу начинающего косца-мальчонку:

От сенокоса к сенокосу
Крылечки свято берегут
Суть философского вопроса:
Зачем мы здесь — и кто мы тут!»

К сожалению, своё выступление потом, сколько не на-меревался, так я и не передал Е.А. Исаеву, периодически вспоминая про это несостоявшееся выступление и забывая о нём на долгие месяцы.

СЕРДЦЕ-КОЛОКОЛ

Моё знакомство с Иваном Ивановичем Евсеенко растянулось на многие годы. Будто бы вызревало, подготавливалось к чему-то большему, чем сиюминутно-конъюнктурные контакты. У меня, журналиста-газетчика из «Молодого коммунара» и начинающего стихотворца, в те далёкие 80-е годы не было надобности знакомиться с «подъёмовским» прозаиком. Я достаточно часто общался с его коллегами, поэтами старшего поколения — В.В. Будаковым, Е.Г. Новичихиным, С.Н. Никулиным, А.А. Ионкиным, В.И. Самойловым, а также с критиком В.В. Семёновым, по просьбе которого даже готовил литературно-критические статьи о поэзии Юрия Кузнецова и тамбовского прозаика Виктора Герасина. Писатели были авторами «молодёжки», регулярно приносили в газету свои стихи или статьи. В свою очередь, я тоже изредка заглядывал в «Подъём». Возможно, кто-то из этих старших товарищей и знакомил меня тогда с И.И. Евсеенко. Помню сумрачное помещение, в котором за письменным столом с горкой бумаг сидел крупный, крепко сложенный физически бородатый мужик, острый на язык, готовый в любой момент правду-матку рубануть. К такому, казалось мне, запросто не подойдёшь, не протянешь с робостью начи-

нающего автора тетрадку со стихами из опасений услышать в ответ жёсткое откровение о своих опусах.

Тем не менее, моё плавное погружение в атмосферу «Подъёма» уже началось. В февральском номере журнала за 1986 год вышла моя первая публикация. Она никакого отношения к поэзии не имела. Это был очерк «Сто дорог к дому» с характерным для советских времён подзаголовком «Об Анатолии Ивановиче Петренко, председателе колхоза “40 лет Октября” Острогожского района Воронежской области». Да и появился материал не по моей инициативе, а при настойчивой просьбе Валерия Михайловича Барабашова, заведовавшего тогда в «Подъёме» публицистикой. Был год очередного съезда КПСС, в прессе, на телевидении и радио требовались публикации про молодёжные производственные коллективы и их локальные экономические показатели. Профанация, конечно, была полная: экономика и есть экономика, она не может быть половозрастной или ещё какой-либо. Но партия сказала: надо! Вот мы, журналисты «молодёжки», и выискивали по области адреса коллективов, где по возрасту трудились как бы комсомольцы, а значит, их экономика должна была отличаться от всей остальной, «взрослой» экономики, своей нравственной чистотой, крепким общественным здоровьем и историческим оптимизмом. Так что про молодёжные производственные коллективы в аграрном и промышленном производстве я писал часто и много. Даже когда перестал заведовать отделом рабочей и сельской молодежи и перешёл на место ответственного секретаря редакции, мой блокнот по-прежнему был набит именами земляков — трактористов, комбайнёров, слесарей, токарей, агрономов, инженеров, руководителей колхозов, сов-

хозов, строительных и промышленных предприятий, а также множеством интересовавших газету событий, сведений и фактов. Со многими героями своих статей и очерков я по-прежнему поддерживал дружеские контакты и потому был в курсе их трудовой и общественной деятельности. На том В.М. Барабашов, видимо, и сыграл.

— Ваня, — спросил он по телефону, — а у вас не найдётся для «Подъёма» что-нибудь про комсомольско-молодежные коллективы?

— Совсем новенького не найдётся, — признался я честно.

— Это ничего. Главное, ваши герои живы-здоровы, делом своим занимаются, — заметил он, выстраивая логику соблазна. — В основе их работы лежит экономика, эффективность труда. Вы же цифрами апеллировали наверняка, когда про ребят писали. Что-то с чем-то сравнивали, делали выводы...

— Ну да, безусловно, — соглашался я.

— А не могли бы вы поразмышлять для журнала над темой молодёжных коллективов, над экономикой производственных бригад, звеньев, хозяйств? — поинтересовался он. — Проще говоря, переделать свои прошлые газетные материалы на размышления автора под формат «толстого» журнала. Сами понимаете, это ведь не газета. Здесь всё должно быть объёмно, аргументированно, глубоко по смыслу, с расчётом на интерес читателя, который проживает в разных уголках страны... Можно, например, раскрыть тему через портрет современного молодого руководителя: его стиль, подход к делу, увлечённость, профессионализм... Почувствуйте себя писателем!

И я рискнул, согласился «поразмышлять» для «Подъёма». А вскоре и ещё раз...

Уже в седьмом номере за всё тот же 1986 год был опубликован мой новый материал «Владелец волчьих тайн», в котором я рассказывал о замечательном воронежском учёном Льве Серафимовиче Рябове. Он был признанным в стране специалистом-волчатником. Посвятил изучению поведения и привычек этого таинственного зверя всю свою жизнь. Заведовал заповедником на Кавказе, затем трудился в Хопёрском заповеднике, а впоследствии преподавал в Воронежском государственном университете.

В 1988 году, в мартовском номере, была напечатана даже такая экзотическая по форме и конъюнктурная по содержанию вещица, как публицистически обработанная запись прямой телефонной линии. Она так и называлась — «Диалог. О диалоге райкома комсомола с молодёжью Эртильского района». Новый жанр входил в моду, и мода, как видим, добралась и до «толстых» журналов.

Зато в 1990 году журнал впервые (и похвастаюсь: дважды!) напечатал мои стихи — в пятом и девятом номерах. Это и был, можно сказать, мой волшебный случай закрепиться в «Подъёме» уже как автору поэтических произведений, чему в немалой степени способствовали главный редактор Е.Г. Новичихин и заведующий отделом поэзии С.Н. Никулин. К тому сроку я уже почти три года руководил газетой «Молодой коммунар». С Иваном Ивановичем Евсеенко наши контакты оставались примерно такими же — эпизодически. Но мне уже казалось, что теперь он на меня смотрит с более дружеским расположением и как на молодого коллегу. Иногда это давало нам повод за недолгими разговорами

о насущном в жизни и русской литературе пропустить рюмочку водки в очень узком кругу.

1991 год стал для меня во многих смыслах определяющим. Страна с горбачёвскими реформами окончательно катилась в пропасть. В августе случился путч, названный ГКЧП. Ощущение тревоги и возможной трагедии буквально витали в обществе. Всё это не могло не повлиять на содержание моих стихов, на эмоционально-публицистический строй молодых и горячих строк. Я писал много и лихорадочно, стихи складывал в красную папку на завязках, которую бережно хранил в нижнем ящичке большого редакторского стола, лишь единожды позволив себе напечатать из неё в родном «Молодом коммунаре» лирико-публицистический цикл «Звезда Водолея».

И вот в такие послепутчевские тревожные мгновения ко мне неожиданно заглянул поэт Виктор Самойлов, стихи которого регулярно публиковали в газете. Мы были знакомы давно — ещё с середины 70-х годов прошлого века. По приглашению моего бывшего школьного учителя Анатолия Петровича Гатицкого, работавшего в те годы в новоусманской районной газете «Путь Ленина» заведующим отделом, я, студент-филолог, иногда ездил из Воронежа на заседания литобъединения в местную редакцию. Виктор Иванович Самойлов постоянно участвовал в работе поэтического клуба, можно сказать, был наставником. С тех пор он с интересом следил за моими стихотворными опытами.

Во время разговора Виктор Иванович поинтересовался:

— Скажи, продолжаешь писать?

Я утвердительно кивнул.

— Можешь показать? — вежливо попросил он.

— Да вон, в папке, в столе, — открыл я нижний ящик и вытащил пухлую красную папку с завязками.

— Позволишь с собой взять? Хочу почитать...

— Нет вопросов — берите!

За редакционной суетой я тут же забыл про отданную Самойлову папку.

Недели через две или три звонит мне поэт Анатолий Ионкин и чуть не благим матом кричит в телефонную трубку:

— Да как ты мог... скрывать от меня... лучшего поэта Воронежа... Я, Витя Самойлов и Валька Семёнов... уже написали рекомендации... на издание твоего сборника... Приезжай срочно на Плехановскую, 3 (там до 2006 года, как и журнал «Подъём», размещалась Воронежская областная писательская организация. — *Прим. авт.*)... забирай... и к Толику Свиридову... пусть ставит в план издательства... А сам рукопись готовь... Мы отметили стихи, какие нам понравились... У всех по-разному... А ты отбирай, что самому нравится... Не слушай нас, старых дураков...

В советское время молодой автор без рекомендаций членов Союза писателей СССР не мог издать свою книгу. Такова была повсеместная практика. И в этом был резон — халтура и откровенная графомания не прокатывали и не прощивались к читателям.

Анатолий Николаевич Свиридов, директор Центрально-Черноземного книжного издательства, бегло пробежал по рекомендациям, согласился издать сборник моих стихотворений. Пригласил к себе Людмилу Петровну Бахареву и попросил её быть редактором моей книжки. По договору сборник планировали выпустить тиражом две тысячи экзем-

пляров, а также выплатить гонорар в размере пяти тысяч рублей. От такой суммы у меня чуть не закружилась голова: как редактор «молодёжки» я получал 800 рублей в месяц. Весь остаток года ушёл на подготовку рукописи. Правил и переделывал стихи под жёстким руководством Бахаревой. «А эту фигню выброси!» — ворчала она, тыкая в текст не нравившегося ей стихотворения указательным и средним пальцами, которые одновременно крепко удерживали дымившуюся «беломорину». За это время рухнул Советский Союз, а уже 8 января 1992 года я был утверждён на должность председателя комитета по печати и информации администрации области. В апреле рукопись сдали в набор и только в декабре — в печать. А.Н. Свиридов накануне позвонил мне, извинился за обстоятельства и огоршил: дела в издательстве неважные, сборник выйдет на газетной бумаге тиражом в одну тысячу экземпляров, а с обещанным гонораром вообще не получится — нет денег. В начале 1993 года я получил авторские экземпляры отпечатанного тиража и радовался, как ребёнок, забыв про злополучный гонорар. Первым делом сбегал в журнал «Подъём» и писательскую организацию и подарил книжку почти всем, кто там был. Некоторые писатели вскоре стали предлагать мне вступить в Союз. Я очень долго колебался. Останавливало сомнение, что вдруг не оправдаю ожиданий рекомендуемых и самого себя: сегодня пишу, а завтра, мало ли что, брошу, не смогу... Забегая вперёд, признаюсь: тягомотина со вступлением-невступлением тянулась аж до 1997 года. В конце концов, я внутренне созрел для такого ответственного шага. Приёмная комиссия в Москве подтвердила решение собрания воронежской писательской организации по моей канди-

датуре, и вскоре мне вручили писательский билет за подписью самого С.В. Михалкова.

В январе 1993 года Е.Г. Новичихин перешёл на должность директора литературного музея имени И.С. Никитина. Наступили трудные времена для «Подъёма». Вулканические страсти в коллективе бушевали несколько лет. Журнал, оформленный в статусе малого предприятия, стал банкротом, фискальные органы готовили его закрытие. Но тут вновь и вовремя на выручку пришёл Евгений Григорьевич. Это был 1997 год. Е.Г. Новичихин возглавлял комитет по культуре администрации области. Он обратился за помощью к главе администрации Воронежской области Ивану Михайловичу Шабанову. Тот откликнулся на просьбу писателей. Было подписано распоряжение о создании на базе журнала «Подъём» государственного учреждения культуры с финансированием из областного бюджета. Директором учреждения комитет по культуре назначил А.А. Голубева, а главным редактором — И.И. Евсеенко.

Так началась другая жизнь и у журнала «Подъём», и у его нового главного редактора и талантливого прозаика И.И. Евсеенко.

С того же времени, можно сказать, начинается и новый этап моего сближения с Иваном Ивановичем.

Весной 1998 года глава администрации области И.М. Шабанов встречался с руководителями областных и районных газет, радио и телевидения, собственными корреспондентами центральных газет, издателями. Участники встречи, не сговариваясь, в один голос стали просить его учредить премию по журналистике и книгоизданию. Заодно прозвучало предложение помочь со стороны власти в выпус-

ке книг воронежских писателей. Иван Михайлович охотно поддержал обе идеи. Областной премией и книгоиздательской программой поручили заниматься непосредственно мне как председателю комитета по делам СМИ и полиграфии. Мы создали при нашем комитете областной совет по книгоизданию. В него вошли чиновники некоторых ведомств, а также издатели, учёные, библиотекари, писатели, краеведы. В начале нулевых годов совет пополнился кандидатурой Ивана Ивановича Евсеенко. Писатель сразу стал одной из ключевых фигур в общественной структуре. Во-первых, как главный редактор он находился в гуще российского литературного процесса, обладал широким кругозором в мире словесности, хорошо знал воронежских писателей и мог оценить степень талантливости каждого из них. Во-вторых, имел чёткую, порой даже жёсткую позицию по месту и роли русской литературы в жизни народа и истории страны в разные её периоды. А желающих потоптаться и попиариться, выражаясь современным языком, на этой щекотливой теме было предостаточно. В-третьих, сам он был ярким, узнаваемым прозаиком в современной русской литературе. Прозу писателя охотно публиковали столичные «толстые» журналы. Он получал престижные литературные премии. Мнение И.И. Евсеенко было весомо, авторитетно, звучало со страниц местных и центральных газет, в которых он довольно часто выступал с публицистическими статьями. Иметь в совете по книгоизданию неустрашимого борца с фальшью и бездарностью было полезно, выгодно и продуктивно. С таким именем, как И.И. Евсеенко, нам легче было сопротивляться графоманам всех мастей. А многие из них нагло обивали пороги комитета по делам СМИ и полиграфии: творцов невидан-

ных доселе «шедевров» ой как манила бюджетная халява! Выступления Ивана Ивановича на заседаниях совета всегда отличались самобытностью. Они были нередко категоричны и бескомпромиссны. Не всем нравилось. Не со всеми его высказываниями соглашался и я. А главное, у меня уже было понимание: издание книг местных авторов редко когда обходится без интриг и обид.

Кстати, членам совета по книгоизданию не запрещалось подавать заявки и на выпуск личных книг. При этом вводились ограничения по срокам, чтобы не было соблазна издаваться ежегодно или через раз.

За десять лет моего кураторства над книгоиздательской программой Иван Иванович воспользовался этим правом единственный раз. В 2008 году вышла книга его повестей и рассказов «Пока печалятся колокола» — внушительный по объёму сборник.

Извечная головная боль для чиновника — дефицит свободного времени, и, тем не менее, евсеенковские «Колокола...» не отпускали, очень хотелось почитать. В чём причина, я до сих пор не понимаю. Может, ностальгировало студенческое: помните, Хемингуэй, его знаменитый роман «По ком звонит колокол»... А тут вот и у Евсеенко — тоже колокол, верней, колокола. И пусть они не звонят, а печалятся, но велика ли разница! И в одном, и в другом случае — будто вечность сквозит. А что может быть для человека загадочнее, притягательнее! К постижению вечного каждый из нас идёт всю свою жизнь в надежде прикоснуться к великой тайне бытия. В 80-е годы минувшего века я уже пытался читать прозу Ивана Евсеенко на страницах «Подъёма». Но, если честно, не легло, не забрало. Наверное, препятствова-

ли литературные авторитеты — Василий Белов, Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Борис Можаев, очеркист Иван Васильев и другие писатели-деревенщики. Мне казалось, сказать что-то новое в этой теме уже не получится, да и деревня, та милая советская деревня, почти вымерла. Конечно же, по молодости я ошибался. А понял это позже, когда в 2011 году познакомился с Борисом Екимовым — вот кто уже в новой российской действительности заставил обратить на себя взор читателей и критики как на блестящего прозаика, пишущего на современные деревенские темы... И вот прошло два десятка лет, и вдруг — колокола, которые почему-то печалются. С «Колоколов...» я и начал заново открывать для себя прозу И.И. Евсеенко. Потом были «Ветряные мельницы», далее — «Сарабанда», «Седьмая картина», «Смертный час», «Фатерланд»... Ощущение было — нет, не восторга, скорей ошеломления. Я проглатывал страницу за страницей — что-то необъяснимое волновало, беспокоило, совестило, мучило. И было стыдно, горько — за себя, за героев этой книги: они по воле писателя приходили к тебе и приоткрывали правду, которую ты просто не знал, или не понимал, или обходил её стороной. Писатель как бы сигнализировал: мы, русские люди, теряем себя, теряем страну. Поклоняемся чужим идолам. Суть подменяем фантиками либо упаковками из маркетов. Мы глумимся над своей историей, стесняемся её. Наконец, мы привыкаем к духовной и моральной ущербности. В наши открытые, доверчивые души врываются коварные ветры с чужбины, чтоб остудить нас и обескровить...

В один из августовских дней 2008 года мне позвонил Иван Иванович и напросился в гости.

— Книгу надо обмыть, — вошел он в кабинет, спокойно выложил на приставной столик бутылку и снедь. — Не побрезгуй: всё своё, — заметил он. — Сало сам солил, горилку лично гнал, как у нас на Черниговщине, картофель, овощи и зелень — с дачи, ну а яйца и хлеб, понятно, из магазина.

Я поначалу отнекивался: разгар рабочего дня, срочные дела, но в какой-то момент понял — важно не перейти черту, чтобы не обидеть.

— Ну, разве по рюмке за вашу чудесную книгу!

— Вот именно! По рюмке...

Рюмкой дело не ограничилось. Иван Иванович — собеседник глубокий, неторопливый. Говорили о жизни, литературе, политике, Боге и безбожии... За неспешной беседой два с лишним часа прошли как одно мгновение. И только пустая бутылка из-под самогона откровенно намекала, что пора бы и заканчивать.

Наутро голова моя была не совсем свежей, но задушевность вчерашней беседы перевешивала последствия небольшого похмелья. Это был наш первый большой разговор за все годы знакомства и без присутствия посторонних лиц. Наверное, он был важен для совестливой души И.И. Евсеенко, и таким образом он выразил благодарность за то, что я поддержал его книгу. Но ещё важнее встреча оказалась для меня: она дала мне возможность почувствовать личность написавшего «Пока печалятся колокола», как говорится, вживую. Сомнения отпали: И.И. Евсеенко — большой самобытный русский прозаик, крупный мыслитель и личность. Его проза 90-х и последующих 2000-х годов вплоть до кончины — вершина творческого мастерства автора. Его писательское зрение в этот период обретает невероятную фанта-

стическую пронизательность. Прозаик предчувствовал: в современном глобалистском мире мораль и её «дети» — честь, достоинство, стыд, совесть — больше не ценность. Нравственное разложение в постмодернистском обществе — прямая дорога в пропасть. Пророческое сердце писателя стало для русской души, подвергшейся ужасающему цивилизационному вызову, вечевым колоколом, чтобы, печалась, спастись. И до сих пор это сердце-колокол бьёт в набат, тревожится и щемит, как и тогда, предупреждая о нарастающей беде.

А повод для подобных мыслей у писателя был. Уроженец сельской провинции Черниговской области Украины и патриот Воронежского края, И.И. Евсеенко всякий раз после очередного посещения малой родины возвращался в столицу Черноземья морально подавленным, духовно опустошённым. Что такого могло произойти там, где он родился, ходил в школу, имел друзей и близких, чтобы за считанные годы его дорогие земляки, как и большинство украинцев, стали жертвами чужих игр, утратили национальную и житейскую самоидентичность, заместили здравый смысл завистью, злобой и ненавистью? Может быть, ещё и поэтому в последних повестях автора так много горечи и обескураженности. В сюжетах произведений герои автора оказываются на родине отцов, но не находят себя там. Не просто так именно в эти годы писатель-реалист по своей природной сути И.И. Евсеенко прибегает к использованию в текстах фантазийных элементов, картин сновидений и необъяснимых раззуму превращений, будто тень самого Гоголя в минуты творческих мук дежурила за спиной автора. Главные герои его повестей испытывают пространственно-временную дезори-

ентацию, теряют ощущение внутренней цельности, гражданской и социально-духовной востребованности. В поведении и поступках действующих лиц царят растерянность и душевная зыбкость.

Эти главенствующие интонации легко прочитываются в повестях и рассказах писателя «Пока печалятся колокола», «Сарабанда», «Раннею зарёю, вечернею порою...», «Затаив дыхание», «Пётр и Февронья», «Поющие пески», «Трясина», «Дмитриевская суббота» и многих других. Лично для меня эти, кстати, небольшие по объёму лирико-философские произведения — самые что ни на есть повести-плачи, повести-сигналы, повести-предупреждения о подстерегающей нас беде. Их жанровые особенности, думается, наиболее удачно передают авторскую цель — говорить с читателем открыто и честно, как с Богом. И как тут не восхититься мастерством и философским символизмом автора, читая, например, повесть «Раннею зарёю, вечернею порою...»! Образ живенького, радостного красавца-жеребёнка — это же некая новая молодая страна, родившаяся на руинах Советского Союза. Для кого-то — Россия, для автора, возможно, — Украина. Не суть важно. Важно, что этот милый резвый жеребёнок — людская надежда на возрождение. Но вот явились современные кровавые «конекрады» и лишили нас этой надежды... Или вспомним повесть «Трясина». Бурёнка, корова-молочница, кормившая семью, вдруг попадает в беду — топнет в болоте. Жители бегают, суетятся, ссорятся. Кругом хаос и растерянность. И никто в этой неразберихе не может вызвать бедное животное из трясины... Разве эта бурёнка — не метафора страны, тонущей в болоте воровства, продажности и духовной тщеты?

Вместе с автором мы проживаем минуты горечи и вопрошания: где же он — выход из всего сложившегося? Где Божий суд? Куда идти? На что, на кого опираться? Не в любовую, не плакатно, а через тончайшие художественно-психологические тропы своих сюжетов писатель, почти по Достоевскому, подводит нас к единственной в таких ситуациях логической необходимости — к нравственному самоочищению, обращению к своим родовым корням, вековой мудрости народа и предшествующих поколений. Хочешь освободиться от наносного, чужеродного — обустрой себя и окружающий мир по божьей справедливости и благоразумию, соедини общее и отдельное в одно неразрывное, единое, что и называется народом...

2009 год стал годом больших перемен. Иван Иванович получил престижную в российской писательской среде Шукшинскую премию. Я готовился к уходу с государственной службы — власть в области поменялась. После отставки мне предложили должность директора-главного редактора журнала «Подъём». О том, что И.И. Евсеенко здесь под запретом уже не один год, я узнал случайно и с нескрываемым удивлением. Сотрудники редакции с намёком кивали головами в сторону бывшего директора-главреда: это всё, мол, его проделки. Немного разобравшись в текущих журнальных делах, я позвонил Ивану Ивановичу и предложил напечататься. По тончайшим нюансам короткого телефонного общения понял: он рад.

Так после долго молчания на страницах его родного «Подъёма», которому были отданы годы и годы работы и из которого в 2006 году его незаслуженно и насильственно выдворили в результате кляуз, сплетен и интриг, одна за дру-

гой появились повести автора: «Раннею зарёю, вечернею порою...» (2011), «Затаив дыханье» (2012), «Пётр и Февронья» (2013). В 2013 году И.И. Евсеенко стал лауреатом премии журнала «Подъём» «Родная речь» в номинации «Проза». К тому времени писателю уже нездоровилось. Он торопился: замыслов было много, а сил оставалось всё меньше.

Примерно за год до своей кончины Иван Иванович пришёл в редакцию. Присел на стул, достал папку и протянул её мне:

— Оставь у себя, — попросил он. — Это — рукописи повестей и рассказов. Они не публиковались. Пусть будут у тебя, мало ли что...

— Не переживайте, Иван Иванович, всё будет нормально.

Это была наша последняя встреча.

После смерти писателя всё, что он оставил нам в папке в качестве своеобразного творческого завещания, решили обязательно опубликовать. Мнение было единодушное и у меня, и у моего заместителя Вячеслава Дмитриевича Лютого, и у ответственного секретаря Владимира Евгеньевича Новохатского, и у редактора прозы Виктора Николаевича Никитина, которым, к слову сказать, Иван Иванович гордился как своим лучшим учеником, а тот по праву почитал Евсеенко своим главным учителем.

Обещание, данное тогда себе, мы сдержали, ежегодно публикуя по одному произведению автора из оставленной им в редакции папки.

НЕТ У СЛОВА ОСОБЫХ ДОРОГ

Весть о кончине Виктора Михайловича Акаткина застала меня утром 10 сентября 2025 года в дороге, где-то на перегоне между Лазаревским и Сочи. В 8:46 на экране мобильного высветился домашний телефон учителя. Но связь тут же прервалась. Через несколько минут звонок повторился. В ответ на мое торопливое: «Алло, алло!» — в трубке снова притаилась немая бездна. Несколько моих ответных попыток дозвониться также были безрезультатными. Закралось нехорошее предчувствие. Мы никогда не созванивались с Виктором Михайловичем так рано. Обычно это происходило в обеденное время. Правда, накануне, 30 августа, он мне звонил в одиннадцатом часу — поздравлял с днем рождения. И это был наш последний с ним разговор. Голос Виктора Михайловича, как всегда, звучал громко и оптимистично. Страшная весть от Елены Филипповны, супруги В.М. Акаткина, вскоре подтвердила мое предчувствие: «Ваня, Виктор Михайлович вчера умер...»

Последние несколько лет, понимая неизбежное и не имея физической возможности покинуть квартиру, В.М. Акаткин много трудился. Написал несколько статей о А.Т. Твардовском, размышлял над жизнью и творчеством

И.С. Никитина, вспоминал своего университетского учителя, известного литературоведа и критика А.М. Абрамова, подготовил заметки о поэтических страницах «Подъёма» «Какая эпоха была...». Как всегда, не забывал и о воронежских авторах: в частности, готовил к печати книгу избранных стихотворений Льва Коськова и воспоминания о нем друзей и коллег, тепло поддержал в своей рецензии стихотворения Анатолия Смышникова. Порадовал своим вниманием и лично меня. К концу 2023 года написал статью «На службе собственной строки...» о моих поэмах и убедил издать их отдельной книгой, что и случилось в 2024 году. А параллельно Виктор Михайлович готовил статью и о моих стихах, в названии которой привычно использовал строку из текста автора — «В чередѣ превращений...». При встрече неохотно признавался, что болезни дают о себе знать, работает медленнее. И чувствовалось: Виктор Михайлович торопился. Видимо, хотел успеть завершить задуманное. В июне 2025 года позвонил мне и поинтересовался, как скоро можно опубликовать в журнале «Подъём» законченную днями новую статью о А.Т. Твардовском — «Заповеди жизни и смерти. (А.Т. Твардовский на войне)». Самым ближайшим по редакционным возможностям оказался девятый номер. Виктор Михайлович покорно согласился с таким вариантом. Когда я получил рукопись, тут же, не откладывая в долгий ящик, буквально «проглотил» размышления учителя. Это были не просто литературоведческие строки о гениальном поэте, не просто попытка взглянуть на военное творчество автора «Василия Тёркина» через призму сложнейшей гуманистической и философской темы жизни и смерти. Мне показалось, это был плод многолетних размышлений над труд-

ными вопросами бытия выдающегося русского ученого, литератора и мыслителя В.М. Акаткина. Это было его почти дантовское, всеобъемлющее, трагически глубокое постижение жизненных пределов, за которыми начинается вечность. Своей последней исследовательской работой он приблизил себя к ней. Жаль, что не дождался выхода в свет журнального номера с этой статьей. Но тем ценней она для потомков с исторической и биографической точек зрения. Можно сказать, это и есть последняя заповедь Виктора Михайловича всем нам. Заповедь, которая позволяет судить об истинном масштабе личности доктора филологических наук, профессора, бесменного декана филологического факультета Воронежского государственного университета, признанного в стране и за рубежом твардовсковеда, который при всем этом оставался удивительно доступным, скромным, справедливым, честным человеком.

К сожалению, так устроен мир: когда-то учителя уходят от нас физически, но, к счастью, они остаются с нами духовно и нравственно, пока мы живы.

Когда тебе самому далеко за шестьдесят и вокруг десятки уже твоих учеников, отчетливо понимаешь, насколько важно в молодые годы обрести учителя. Это — подарок судьбы для юной души. Идеально, если такое обретение не ограничивается формально-возрастной категорией или принадлежностью к профессии и увлечениям, а обременено самой жизнью, когда, выражаясь строкой поэта Юрия Кузнецова, «душа прикоснулась к душе». В этом счастливом варианте учитель и ученик с годами не отдаляются, они идут вместе. И ученик понимает, нет, знает: тот, кто тебе близок по духу, по смысловым, эмоциональным, эстетическим ощущениям

времен, событий и людей, всегда рядом и всегда готов поддержать, разделить, предостеречь от опрометчивых поступков и скоропалительных суждений.

Таким учителем для меня был и остается В.М. Акаткин.

Местом для обретения учителя для меня стала кафедра русской советской литературы на филфаке ВГУ и, конечно же, страстная мальчишеская любовь к поэзии. Не только к классической, но и к современной.

Странно это было или нет для семнадцатилетнего сельского парня, не могу объективно судить с высоты прожитых лет и из туманных далей нынешнего «айтишного» бытия, но всеядное поглощение всего, что тогда, в 70-е годы прошлого века, печаталось в газетах, журналах, издавалось отдельными сборниками, становилось для меня ежедневной насущной потребностью. К счастью, в те далекие и ругаемые ныне советские годы подписка на газеты и литературные журналы не являлась роскошью и была доступна семьям любого достатка. Даже мама, несмотря на трагическую смерть моего отца и не очень сытное существование с тремя сыновьями в руках, для своего старшего выпускника Новоусманскую районную газету «Путь Ленина», областную — «Молодой коммунар» и журнал «Молодая гвардия».

А еще была сельская библиотека с великолепным по разнообразию и богатству фондом художественной литературы.

И был школьный преподаватель русского языка и литературы — Анатолий Петрович Гатицкий, выпускник того самого филологического факультета, на котором мне только предстояло учиться. Буквально с первых месяцев рабо-

ты в Краснологской средней школе он стал для меня путеводной звездой во всех смыслах этого слова. Первым из главных учителей жизни и настоящим другом — со дня знакомства и до дня его кончины. Давал читать книги из своей домашней библиотеки. Охотно и с деликатной дотошностью, чтобы не травмировать мальчионочью душу, разбирал строчки моих первых стихов. Если бы не он, я бы точно не учился на филфаке ВГУ. В десятом классе нас, пятерых лучших выпускников, директор школы не просто настойчиво, а волевым порядком выпроваживал поступать в Борисоглебский пединститут. Видимо, надо было выполнять спущенную сверху разрядку. В эти мучительные для меня дни колебаний и раздумий А.П. Гатицкий уже месяца два как работал в новоусманской районной газете «Путь Ленина». Связи мы не теряли, я посылал ему свои школьные заметки, иногда они печатались в газете, но все равно мне остро не хватало прямого, глаза в глаза, совета моего наставника. И незадолго до выпускного вечера я срочно поехал в райцентр.

— Да ты что?! — с удивленным возмущением запротестовал Анатолий Петрович. — Никакого пединститута. Только в университет на филфак. Я знаю уровень твоей подготовки, ты обязательно поступишь.

Страшновато было послушаться директора школы, но наставление старшего товарища и молодость оказались сильнее страха. На филологический факультет я действительно поступил сразу, и А.П. Гатицкий при ближайшей встрече радостно хлопал меня по плечу:

— Молоток! Какой же ты молоток, Ваня! Я знал, что ты поступишь...

Надо сказать, появление в нашей школе четы Гатицких

(а супруга Анатолия Петровича Ольга Николаевна была тоже выпускницей филфака) стало лично для меня неким знаком судьбы в дальнейшем жизненном и образовательном выборе. Дух филологического факультета ВГУ в молодой семье, можно сказать, сквозил из всех щелей. Анатолий Петрович писал диссертацию по Достоевскому у профессора Виктора Александровича Малкина. Знаменитый лингвист, профессор Анатолий Михайлович Ломов, сменивший после смерти Игоря Павловича Распопова на посту заведующего кафедрой русского языка, был двоюродным братом А.П. Гатицкого, а авторитетнейший и крупнейший исследователь творчества Лермонтова, профессор Борис Тимофеевич Удодов приходился Ольге Николаевне родным дядей...

Так что с каждым восторженно-дружеским хлопком Анатолий Петрович будто подталкивал меня в руки уже других учителей, многие из которых были и его наставниками и кумирами, и он был горд и спокоен за мое будущее, понимая, куда я иду и к кому. Подталкивал вместе с моими корявыми юношескими стишками, с близкими и понятными сердцу именами Пушкина и Лермонтова, Кольцова и Никитина, Блока и Есенина, Твардовского и Симонова, Евтушенко и Вознесенского, Соколова и Рубцова, Жигулина и Прасолова, со всеми воронежскими поэтами, бывшими тогда на слуху: Виктором Панкратовым, Станиславом Никулиным, Олегом Шевченко, Людмилой Бахаревой, Анатолием Ионкиным, Виктором Самойловым...

В те минуты мне казалось, что за стенами редакционного кабинетика в неясных своих очертаниях уже клубилась моя новая жизнь — студенчество, и меня поджидал тот, кто был готов принять со всем моим тощим литературно-поэти-

ческим скарбом и невероятными юношескими мечтами и устремлениями.

И это был Виктор Михайлович Акаткин.

Я не помню сейчас деталей нашего сближения, не помню обстоятельств, из-за которых стало ясно: вот он, мой новый учитель и наставник. Все сложилось естественным образом, без четких обозначений и дат, как будто так было всегда. Случилось это не на первом курсе, а позже, когда в нашей четвертой группе, приписанной к кафедре русской советской литературы, практические занятия и коллоквиумы вел достаточно молодой еще доцент этой кафедры, кандидат филологических наук и страстный поклонник творчества А.Т. Твардовского В.М. Акаткин. Но катализатором сближения поначалу выступил даже не обожаемый ученым Александр Твардовский, а Юрий Кузнецов, поэт, о котором только-только заговорили и яростно заспорили после выхода из печати в 1976 году его первого московского сборника «Во мне и рядом даль».

Скорее всего, да, это был Кузнецов!

На одном из семинаров Виктор Михайлович, уловив мою тягу к стихам поэта, предложил подготовить доклад по кузнецовскому сборнику для прочтения на научном студенческом кружке. Я охотно взялся исполнять просьбу, не до конца представляя, с какими трудностями придется столкнуться. О стихах Кузнецова тогда было много устных пересудов и почти ничего напечатанного. Исключение составляла одна-единственная разгромная статья Татьяны Глушковой в журнале «Литературное обозрение». Это уже потом, когда вышла вторая столичная книга Юрия Кузнецова «Край света за первым углом», а следом еще и еще, Вадим

Кожинов поддержал поэта, намекая на его исключительность, уникальный талант и большое будущее.

Кузнецовский «водораздел» незримо пролег и в кругу преподавателей факультета. В.М. Акаткин видел в творчестве Кузнецова явление нового поэтического мышления. Профессор А.М. Абрамов категорически не разделял восторга своих коллег. Как фронтовик и автор фундаментального исследования «Лирика и эпос Великой Отечественной войны» Анатолий Михайлович с возмущением воспринял поэтические пассажи Юрия Кузнецова на святую для него военную тему:

Шел отец, шел отец, невредим,
 Через минное поле.
 Превратился в клубящийся дым —
 Ни могилы, ни боли...

.....

Я пил из черепа отца
 За правду на земле...

.....

Мне у могилы не просить участия.
 Чего мне ждать?..

Летит за годом год.

— Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья!..
 Мать в ужасе мне закрывает рот.

На одной из лекций А.М. Абрамов неожиданно резко перешел на разговор о Кузнецове и об ответственности ученых в выборе предмета литературоведческого исследования.

— В филологии важно четко представлять масштаб личности писателя и его творчества, — сказал он с присущей ему страстностью. — Вот Дмитрий Дмитриевич Благой начал свою научную карьеру сразу с Пушкина.

Анатолий Михайлович наклонил в сторону голову, скинул правую руку вверх с вонзенным в воображаемое небесное пространство указательным пальцем, повертел им и с язвительной интонацией пропел:

— А у нас кое-кто предпочитает начинать со стихов Кузнецова...

Трудно сказать, имел ли обожаемый многими профессор кого-то конкретно из коллег или это было обобщенное поколенческое неприятие новых веяний в советской поэзии середины 70-х годов XX века, когда на смену «громкой» и «тихой» лирике приходила поэзия метафоры и философской ассоциации, тем не менее, Кузнецов, несомненно, был наиболее ярким ее представителем. Постепенно, отчасти нехотя, но поэт входил в словесный оборот А.М. Абрамова. Однажды на спецкурсе по современной поэзии он неожиданно обратился ко мне, возможно, зная от Виктора Михайловича Акаткина о моем докладе по творчеству поэта, с которым я уже выступал на студенческом кружке:

— Вот вы, Ваня, увлекаетесь Юрием Кузнецовым. А прочтите-ка нам что-нибудь из его стихов...

Я был в замешательстве: сообразить студенту мгновенно, без подготовки, какое стихотворение поэта прочитать самому Абрамову! Несколько секунд на обдумывание — и я декламирую первое, что приходит на ум:

Не сжалится идущий день над нами,
Пройдет, не оставляя ничего:
Ни мысли, раздражающей его,
Ни облаков с огнями и громами.

Не говори, что к дереву и птице
В посмертное ты перейдешь родство.

Не лги себе! — не будет ничего,
Ничто твое уже не повторится.
Когда-нибудь и солнце, затухая,
Мелькнет последней искрой — и навек.
А в сердце... в сердце жалоба глухая,
И человека ищет человек.

Когда же с волнением выдохнул последнюю строчку, в аудитории на мгновение повисла немая тишина. Анатолий Михайлович провел сложенными подковой большим и указательным пальцами по краям губ к подбородку. Он часто так делал, концентрируясь на мысли, которую надо было сформулировать. Наконец задумчиво и все еще с каким-то по-детски упрямым подозрением произнес:

— А знаете, тут что-то есть... — и пустился в свойственные ему пространные рассуждения на литературно-житейские и философские темы.

Имя Юрия Кузнецова все более сближало меня с В.М. Акаткиным. Виктор Михайлович принимал самое деятельное участие в моей работе по исследованию творчества поэта. После зимних каникул 1977 года он настоятельно рекомендовал мне поехать на научно-студенческую конференцию по литературе в Горьковский государственный университет. Помог с оформлением заявки и был рад, когда, наконец, из города на Волге пришел вызов.

Мое выступление в чужом вузе среди массы незнакомых ценителей современной литературы вызвало дискуссию. По докладу критично прошелся некий аспирант. Было явно видно, что стихи Кузнецова ему не по душе. Солидная дама из местных ученых остудила бойцовский пыл молодого коллеги... Разговор все более смещался от конкретного

доклада и личности Кузнецова к современной поэзии вообще. Зато, подводя итоги конференции, мой доклад неожиданно похвалил известный литературовед, профессор, доктор филологических наук и заведующий кафедрой русской советской литературы филологического факультета Горьковского госуниверситета Иван Кириллович Кузьмичев и посоветовал мне не оставлять кузнецовскую тему. Я был по-настоящему счастлив!

Горьковский вояж воодушевил моего учителя. После летних каникул и колхозной эпопеи с копкой сахарной свеклы (с ломанами и лопатами по первым ноябрьским заморозкам!) мне было предложено выступить с докладом по творчеству Кузнецова на студенческой конференции в Тюменском государственном университете в последние дни декабря 1977 года. Беготня по ректорату и бухгалтерии закончилась полным фиаско: в конце финансового года командировку в Сибирь оплатить категорически отказались. Однако Виктор Михайлович продолжал «натаскивать» своего подопечного для будущей научной карьеры. Уже и первые конкретные разговоры пошли о том, чтобы оставить меня в аспирантуре.

На исходе учебы передо мной открывал двери Ленинградский государственный университет с положительным заключением по теме доклада. Исследование потихоньку расширялось и уже не ограничивалось творчеством Юрия Кузнецова, а захватывало, словно бреднем, дюжину-другую известных поэтических имен с акцентом на то, к каким берегам плывет все-таки современная советская поэзия, оставив позади дискуссии о «громкой» и «тихой» лирике. Все это стало основой для дипломной работы.

Но, увы, пошла полоса невезения. Место в аспиранту-

ре улегучилось, на горизонте маячили распределение, двухмесячные военные сборы и женитьба по осени. Как говорится, хлопот полон рот, не до Ленинграда. Несмотря на искушение, я добровольно отказался от командировки в легендарный город на Неве, в который после четвертого курса также не поехал на библиотечную практику из-за стройотряда. Лишь в 2001 году представилась возможность наконец-то открыть для себя этот город, но уже с именем Санкт-Петербург.

Распределили меня в терновскую районную газету «Красное знамя». С В.М. Акаткиным договорились, что буду готовиться к поступлению в аспирантуру.

— Я размышлял над темой диссертации, — сказал он мне. — Есть малоизученное и интересное направление: жанровое движение лирики Твардовского. Исследуйте это явление — от его ранних стихов до лирики последних лет... Тогдашней поэзии свойственны были жанровая полифония, смешение родовых и видовых признаков. Стилистические и языковые границы размывались. И Твардовский этим активно пользовался. Первые его опыты — это стихотворные оперативки на события: зарисовки, репортажи, очерки... Чисто лирические формы требовали человеческого «я». А Твардовский был убежденным сторонником социалистических преобразований. Значит, на переднем плане — «мы», народ. Поэтому его жанровые искания — на стыках поэзии и прозы, лирики и эпоса, в сюжетах, изобразительных элементах, прямой речи, в применении имен, фамилий, прозвищ... Интересно все это поизучать... А наработки из дипломной работы не выбрасывайте — пригодятся.

Год работы в Терновке пролетел как один день. Затем

был переезд в Эртиль — там моей семье предоставляли квартиру. Ночами — читка и конспектирование литературы по А.Т. Твардовскому, наброски по обозначенной теме. И непременно — короткие наезды в Воронеж на встречу с учителем, ставшим моим научным руководителем. Долгие беседы о литературе вообще перемежались конкретными разговорами о диссертации. Виктор Михайлович внимательно ознакомился с рукописью первой главы по ранней лирике поэта, вносил правки. В одну из встреч неожиданно завел речь, что хорошо бы мне перебраться на работу в университет: легче готовиться к поступлению в аспирантуру.

Этой идеей я был буквально заряжен: действительно, не сидеть же всю жизнь в районной газете! После новогодних праздников 1982 года Виктор Михайлович вдруг позвонил и воодушевленно сообщил:

— Ваня, есть место преподавателя на подготовительном факультете. Решайтесь...

И я решил!

В марте перебрался с семьей в Воронеж. Стал преподавать русский язык и литературу иностранным студентам на подготовительном факультете ВГУ. Место было временным — кто-то находился в декрете, и меня вскоре перевели на должность лаборанта, что, честно говоря, задело самолюбие. Однако главный удар был нанесен с самой неожиданной стороны: необходимо было менять тему исследования, якобы Твардовского в диссертационных советах по всей стране было слишком много.

— Может, возьмете тему «Человек в поэме 50-х?» — предложил выход из ситуации В.М. Акаткин, видя мое разочарование.

— Но это невозможно, — ответил я. — Три года начинал специальную литературу, конспектировал работы по Твардовскому, почти закончил первую главу, и теперь все заново! А потом, тема для меня неинтересная. О каких поэмах в 50-е годы можно вести речь всерьез?!

Жарким июньским днем на проспекте Революции повстречал университетского товарища Александра Тимашова.

— Напиши что-нибудь по закреплению молодежи для «Молодого коммунара», — предложил он. — Ты же в теме...

Поначалу к предложению отнесся с недоверием. Но на фоне университетских неудач разговор, будто заноза, засел во мне. Вечерами с вдохновением строчил свою публицистику для знаменитой «молодежки». «Всего на два дня» — так назвал размышления. Материал признали лучшим по итогам месяца. Неожиданно для себя согласился написать еще один, затем еще... Мое журналистское сердце затосковало по хорошо знакомым газетным будням. Вернулся из отпуска редактор «Молодого коммунара» Виталий Жихарев. Меня представили ему. Ни о чем не спрашивая, он сразу попросил написать заявление о приеме на работу. 12 августа 1982 года я был зачислен в штат редакции.

Так без лишнего драматизма и душевных терзаний я попрощался со своей юношеской мечтой — стать ученым. Три с лишним года работы в районных газетах приучили быть на виду, в гуще событий. На десять с лишним лет я погрузился в пьяняще-сладостную суету одной из лучших «молодежек» Советского Союза, пройдя путь от выпускающего до редактора. А потом были долгие семнадцать лет чиновничьей работы в должности руководителя управления по делам печати и средств массовых коммуникаций. И ни-

когда не прерывал отношений с В.М. Акаткиным. Хоть на минутку, но заглядывал в гости к декану филфака, моему студенческому учителю. Обменивались книгами, рассуждали о политике: 90-е годы прошлого века были не самыми благоприятными как для литературы, так и для науки. Виктор Михайлович даже соблазнился политикой — стал депутатом Воронежской областной Думы. Но очень быстро разочаровался в полезности этой чуждой его умному и честному сердцу затеи.

Иногда в разговорах спорили.

— Поэт должен быть бродягой, иначе хороших стихов не напишешь, — смеялся Виктор Михайлович, будто бы поддразнивал своего ученика-чиновника.

— А как же стихотворцы восемнадцатого, девятнадцатого веков? — не соглашался я. — Они ведь сплошь чиновниками были. Это двадцатый век развратил писателей в Советском Союзе. Литература стала частью государственной идеологии. Можно было не работать, трудовой стаж шел, сто двадцать рублей в месяц платили, квартиры предоставляли. Вот и бродяжничали некоторые от безделья...

Помню, возвращался в один из таких дней к себе на работу, и почему-то думалось о моем современнике Вячеславе Дёгтеве, кто олицетворял собой новую генерацию русских писателей. Интересно, а он кто? Ведь нигде не работает, живет исключительно литературным трудом, на гонорары. Назови бродягой — обидится насмерть. Терпеть не мог избалованных советской властью коллег. «Иждивенцы! — возмущался всегда. — Привыкли на государство надеяться. Для них русский писатель должен быть обязательно пьяным и под забором валяться, да чтоб в бороде капуста... Думают,

только они одни патриоты... Я под заборами не валяюсь, хожу в шляпе и кожаном пальто до пят. А докажите, что меньше Родину люблю!»

На дворе тогда стоял трагический 1992-й. Буквально накануне, в декабре минувшего года, случилось непоправимое: в Беловежской Пуще Ельцин, Кравчук и Шушкевич распустили Советский Союз. Человеческие души наполнились тревогой. Мрак безвременья витал над страной, погружая ее в пучину беспросветности: «И между делом — по второму «Вести», // Обрывки фраз о соглашении трех... // Туда ль ведут?... И жизнь — как в перекрестье // Прицелов злых или настырных глаз...»

Так вы говорите, поэт — бродяга?

Тогда и весь народ наш — тоже бродяга?!

Нет, нет, не хочу верить, учитель!

В то же мгновенье как протест, как сопротивление себе, другим, окружившему нас мраку и неверию спонтанно выплескивается «Послание доктору филологии»:

Вы сказали: поэт что бродяга.

Я хотел бы понять: почему?

Пело б сердце — великая тяга

Очага в материнском дому.

Милый доктор, мое вам почтенье!

Нет у слова особых дорог.

Жив поэт, как и встарь, вдохновеньем,

А не дюжиной сбитых сапог.

Неизбывны пути человечьи:

Чьи тверды, чьи шатки, как мосток.

...Голос был Иоанна Предтечи.

Был (к распятью!) иуд шепоток.

Дай-то бог им обувку и песню,
Всем блуждающим с музой во мгле!
Не делюсь. Даже счастлив, что вместе,
Кто как может, поем на земле.

Только в 1999 году решился опубликовать это стихотворение в сборнике «Чтоб не осталось в мире одному». Правда, без посвящения В.М. Акаткину. Не знаю, догадывался ли Виктор Михайлович, что строчки адресованы ему, или нет, зато теперь сам признаюсь: да, посвящены учителю!..

Драматичные 90-е сменили начальные двухтысячные. Стала появляться надежда на перемены к лучшему. В те годы возглавляемому мной управлению поручили курировать областную книгоиздательскую программу. В.М. Акаткина наряду с другими известными учеными, литераторами, издателями и работниками воронежской культуры мы попросили войти в состав книгоиздательского совета и быть нашим экспертом. Виктор Михайлович с удовольствием выполнял общественную нагрузку. Охотно согласился стать составителем двухтомника избранной воронежской прозы. Планировали издать антологию воронежской поэзии, но внешние обстоятельства не позволили воплотить нашу совместную идею в реальный проект. С помощью такой социально ориентированной программы за 10 лет было издано несколько сотен наименований книг. Это — поэзия и проза воронежских писателей, литература по краеведению, культуре, истории, серия детских книг, альбомы, двухтомная универсальная воронежская энциклопедия... И все это духовное и социально-культурное богатство пошло на пополнение библиотечных фондов Воронежа и области, школ и вузов.

Иногда мне кажется, что учитель и ученик — как бы два сообщающихся сосуда. В одном наполнилось — перетекает в другой, из одного убыло — и у другого на толику опустело. Радостное ли, грустное или житейски-банальное, все без разницы. Просто одно не существует без другого. Отнимите у учителя ученика — будущего лишите и надежды, отнимите у ученика учителя — прошлого лишите и мудрости. Не от того ли долго потом не залатывается пустота, если прерывается связующий канал между поколенческими сосудами?

В 2010 году я вознамерился подготовить к печати книгу избранного. Поделился планами с В.М. Акаткиным.

— Давайте напишу вступительную статью, — предложил он, видимо, понимая мою внутреннюю неловкость обращаться с такой просьбой самому.

Сказать, что я был горд, ничего не сказать. Это была сдержанная и честная мужская благодарность своему учителю за его такое же честное слово об ученике в предисловии к книге «Время меняет смысл», которая вышла из печати в 2011 году: «Самый главный вопрос, встающий перед поэтом: кто мы в этой жизни — коренники или пристяжные? «Вчерашнего мира оплот» или балабоны, способные только сдувать пену с пивных кружек? Что с нами стало «в эпоху большого разврата и самых крутых авантур»?.. На поверхности строк ответа на них нет. Видимо, такого кризиса духа и воли мы никогда не переживали. Одолевать всякие напасти и беды нам не привыкать, но такого нравственного кульбита, как в лихие 90-е, совершать не пришлось. Герой Щёлокова, возвращенный при социализме, отвергает все, во что погрузил нас рынок: культ денег, богатства, гра-

бежи и насилие, бездуховность и продажность, скупка мертвых душ. Ему противно быть затертой картой в шулерской колоде, штопором для вин и коньяков, служкой у собачек в бриллиантовых тапочках и т.п...

Все душевные муки героя — вплоть до крайнего отчаяния — оттого, что слишком многое угрожает... ценностям. А самая большая угроза таится в нас самих...»

Учитель «разгадал» ученика.

Но пробил час, и ученик тоже понял своего учителя.

В сентябре 2015 года меня избрали председателем правления Воронежского регионального отделения Союза писателей России. Спустя некоторое время В.М. Акаткин обратился ко мне с неожиданной просьбой:

— Ваня, а я могу вернуться в наш Союз?..

— Да! — утвердительно ответил я, хотя не представлял нюансов процедуры перехода члена одного творческого союза в другой, и за консультацией обратился к столичным коллегам.

В 2017 году на собрании писателей я уже вручал новенький членский билет своему учителю.

Кто-то громко выкрикнул в тот момент:

— Виктор Михайлович Акаткин, словно Крым, возвратился в родную гавань.

И раздались дружные аплодисменты...

Восемь лет прошло с того дня.

За эти годы были нечастые, но очень душевные, теплые встречи на дому у учителя. А еще десятки и десятки телефонных бесед: о литературе, жизни, детстве, родителях, нравах современного общества; раздумья о будущем писательского труда, судьбе «толстых» журналов в стране и вли-

янии информационных технологий на интеллектуальный, духовно-нравственный, морально-этический облик грядущих поколений, о чтении и приобщении к нему молодежи...

В эти мгновения, когда еще свежи в сердце переживания от недавней потери, я дописываю воспоминательные строки о моем учителе. За окном — начальные дни октября 2025 года, прямо-таки жигулинские: прозрачные и стремительные. Виктор Михайлович любил поэзию А.В. Жигулина, немало строк посвятил его лирике. Смотрю на медленно падающие за окном пожелтевшие листья и с почти авторским нетерпением жду из печати сентябрьскую книжку «Подъёма» со статьей В.М. Акаткина «Заповеди жизни и смерти». Номер задерживается в типографии. Впрочем, как и золотая осень, которая не спешит, будто специально оттягивает момент окончательного прощания с учителем, оставляя нам память.

2025

О ГОРОДЕ НАШЕЙ СУДЬБЫ

Мало найдётся таких городов, как Воронеж, о которых писали бы литературные корифеи Анна Ахматова, Игорь Северянин, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Яков Шведов, Самуил Маршак и другие. Более того, наш город вдохновлял на яркие поэтические строки англичанина Алана Силлитоу, армянина Ашота Граши, испанца Хосе Мортеро, вьетнамца Ле Ван Няна, украинца Петра Ребро, грека Георгиса Велласа. Вряд ли ошибусь, если скажу, что стихи о родном городе есть и у каждого поэта-воронежца. Ну или почти у каждого. Разбросанные по многочисленным сборникам, журнальным и газетным страницам, они своим разноголосьем показывают читателю яркие картины целого — любимого всеми нами города нашей судьбы. При этом, как это ни удивительно, отдельных поэтических книг о Воронеже, в отличие, кстати, от прозаических, практически нет. Вспоминается лишь «Воронежская поэма» Владимира Кораблинова да замечательная антология «Есть город в России...» — подвижнический труд её составителя Станислава Никулина. Но кораблиновская поэма издавалась в середине прошлого века и сегодняшнему читателю вряд ли знакома. Никулинская же антология хоть и вышла сравнительно недавно и при этом — двумя изданиями (в 2004 и 2011 годах), но практически весь её тираж ушёл в библиотеки.

В свете сказанного понятно, что появление каждой новой талантливой книги стихов о Воронеже не может не стать литературным событием и с самого начала возводит такую книгу в ранг изданий, которым суждена долгая жизнь. Думаю, что именно таким событием стало вышедшее в 2018 году в издательстве имени Е.А. Болховитинова первое издание стихов Ивана Щёлокова «Город на лучах зари».

При первой встрече город оценивают так же, как и человека, — «по одежке»: по его улицам и площадям, скверам и паркам, храмам и памятникам знаменитым жителям, по другим зримым приметам. Таких примет в книге Ивана Щёлокова предостаточно:

О, звон колокольный с холма
от Покровского храма!
Едва продираясь
сквозь шорохи листопада,
Биением сердца стучится
в оконную раму
В малиновом зареве клёнов
Кольцовского сада.

Или:

Переулок Клинический,
До больницы — рукой...
Чей-то смех истерический
За калиткой глухой.

Чернавский мост и Детский парк, Петровский и Первомайский скверы, Чижовка и Отрожка, улицы Пушкинская, Манежная, Бучкури и переулок Пестеля, Успенская Адмиралтейская и Воскресенская церкви, памятники Кольцову, Никитину, Платонову и Маршаку, домик Бунина и музей Никитина, огромное

Воронежское водохранилище и маленькая автостанция на улице Димитрова... И эти, и многие другие уголки города для поэта настолько родные, что, кажется, даже «дыханье от речки — твоё!». Щёлоков воспевает воронежские липы и каштаны, тополя, клёны и сирень. И, конечно, людей города, среди которых не только его знаменитости, но и простой народ, чья «жизнь естественно течет: злится, пьёт, теряет, ищет, плачет, мучится, поёт».

Но если читатель подумает, что Иван Щёлоков создал нечто бравурное, патетическое, некий очередной «гимн городу», то он ошибётся. Автор книги честен и перед самим собой, и перед своим читателем. Он пишет не только о радостном, но и о грустном, о тревожном, а в некоторых стихотворениях даже о трагическом. Иногда такая тревога может показаться не вполне достойной поэтического внимания (хотя она его — ох как достойна!):

С высоко поднятой головой
иду по родному городу.
Чувство одно:
переполняет страх,
Не слетит ли с карниза сосулька
на голову.

А трагическое — и для Воронежа, и для страны, и для каждого воронежца — в нашем сравнительно недавнем прошлом:

Время инфляции, время инфарктов...
Кто из нас выдюжит — ты или я?
А на аллеях Кольцовского парка
Золотом чистым горят тополя.
В сумму какую сердцам обойдется
Щедрый на редкость для всех листопад?
Медной копеечкой над городом солнце
Медленно катится в дымный закат.

Поэта, конечно же, не менее, а более денежной инфляции беспокоит инфляция веры в справедливость, в будущее, без которой люди становятся отверженными:

Сверкнула жизнь, как луч безумной мысли,
И высветились в тайнах бытия
Минувший век, Воронеж, крах Отчизны
И перестроечная молодость моя.

Лишь жгучий стыд за слепок от подошвы
На глине у вчерашней колеи,
За век, в котором ты родней не больше,
Чем в Африке донские журавли.

А разве легко найти согласие в собственной душе, если был «век мой белый, век мой красный, весь в бореньях поседелый», если «прадед был кулак-раскольник, дед — партийный, председатель»?

В революцию, как в небо,
Вместе с памятью врываю...
Век прошёл, а мне бы, мне бы
Примириться как — не знаю.

И все-таки в других стихотворениях поэт находит ответ на вопрос о примирении в своей душе. Оно в том, чтобы «сострадать и помнить добро». «Я выбираю сердце!» — восклицает он в стихотворении «Мой выбор». О таком же выборе он мечтает и для любимого города:

Стройной девушкой в праздничной кофточке
Воскресенская церковь мила и светла.
И у Бога прохожий тихонечко
Просит град уберечь от гордыни и зла.

Человеку, выбравшему сердце, разумеется, не обойтись и без любви, в которой «только ты и моя меж фасадов фигура. Только я и твоё в напряженье лицо...». Ну а любовь к городу проходит через всю книгу:

На лугу росинку тронешь —
Отразишься в капле вся:
Гордым именем Воронеж,
Звонкой трелью соловья.
Быть в любви к тебе нескромным
И навязчивым боюсь.
Я, земля, твоим просторам
Лучше в пояс поклонюсь!

Второе издание книги заметным образом переработано и дополнено новыми стихотворениями о Воронеже, написанными Иваном Щёлоковым в последние годы. Появился в книге и раздел авторских эссе и статей о классиках и современниках — М.Ю. Лермонтове, А.С. Грибоедове, А.Т. Твардовском, В.М. Пескове, Е.А. Исаеве, И.И. Евсеенко, В.М. Акаткине, чьи жизненные и творческие судьбы в той или иной мере связаны с литературной историей нашего города.

Эссе и статьи — это, естественно, проза. Но и в ней Щёлоков остается лириком. Вот, например, поэтический образ воронежского Чернавского моста в эссе, посвящённом А.С. Грибоедову:

«Мост помнит сотни, тысячи событий — незначащих и грандиозных, радостных и трагических, весёлых и горьких. В его перилах, ограждениях и пролётах промелькнули тени простых горожан и сановных персон, царей и губернаторов, рядовых и генералов, писателей и художников, ссыльных и вольнонаёмных. Как мудрый старец — вечный хранитель некоего родового начала —

соединяет он берега Воронежа, оставаясь неизменным символом духовной, культурной и нравственной целостности города».

Именно по этому мосту (другой переправы на другой берег реки в ту пору не было) в сентябре 1818 года «проезжал Александр Сергеевич Грибоедов, случайный воронежский гость, заночевавший у нас по причине поломки брички. Наверняка мост помнит торопливый гул экипажа сановного путника и молодецкое поскрипыванье обновлённых, починенных мастеровитой рукой колёсных пар. Под их бойкий и ритмически слаженный аккомпанемент молодого дипломата увозила в чужую, далёкую Персию сама судьба, будто подсказывая мосту, кто едет, куда, зачем и кем незнакомец воротится назад».

Многие строки этого раздела, как и в поэтической части книги, окрашены в яркие публицистические тона:

«Грибоедова и самого давно раздражает способность реальных Митрофанушек и Молчалиных приспособляться к внешним обстоятельствам, дабы извлечь корыстную для себя выгоду. Это они в большинстве своём и подвигли Александра Сергеевича взяться за перо. Ими давно переполнен столичный высший свет. Подобные типы, приветствуемые избранным обществом за их покорность, готовность терпеть любое унижение и неприкрыто литье всякому, кто над ними имеет власть, занимают в обществе законное место умных, образованных граждан и лишают их возможности утвердиться и оказывать положительное влияние на ход событий...»

Щёлоковская публицистика обращена в прошлое, но она постоянно и очень остро переключается с современностью:

«Денег, положения у многих сегодня, как у Фамусова, а приглядишься: кому завтра передадим ум, если кругом горемыки — в своей невежественности, душевной лени, интеллектуальном бесплодии и безразличии “к отеческим гробам”?»

Подчас параллели с сегодняшним днём настолько выпуклы, настолько объёмны, что он, этот сегодняшний день, то тут, то там выходит на передний план:

«Несомненно, Грибоедов совершил гражданский и литературный подвиг, подарив читателям своего Чацкого. И всё-таки жаль, что даже сегодня, в век Интернета и виртуальной реальности, в век колоссальных коммуникативных возможностей, от присутствия таких персонажей, как Чацкий, веет холодом и одиночеством, и мы по-прежнему получаем неизменно горький результат в этой социально-психологической совокупности: горе от ума. Ум этих фигур от природы оригинален и контрпродуктивен, впечатляющ и бессмыслен, как яркий баннер на многолюдной городской улице. Чацкими восхищаются в элитарных клубах и салонах, но современные Фамусовы в дело их не берут, предпочитая им Молчалиных».

Я намеренно привожу здесь цитаты из одного и того же эссе, чтобы читателю стало понятно, как многопланов, как широк автор в пределах всего лишь одного-единственного произведения.

На мой взгляд, в своих эссе и статьях Ивану Щёлокову удалось подняться на весьма значительные творческие высоты. Замечателен уровень эссе «Вечные странники» — о воронежских страницах в кавказских скитаниях М.Ю. Лермонтова, а также упомянутого выше эссе «Здесь, однако, пробудем два дни...» — о воронежском эпизоде в поездке А.С. Грибоедова в Персию. Блестяще написаны воспоминания о старшем коллеге по перу, большом русском писателе Иване Евсеенко. А статью «"И дороги иные, и приметы не те..."», рассказывающую о жанровом движении в художественную ткань произведений я бы поставил в один ряд с лучшими аналогичными работами известных отече-

ственных критиков и литературоведов, занимающихся исследованием творчества поэта. От себя добавлю ещё, что воронежцы должны быть благодарны А.Т. Твардовскому за огромную роль, которую он сыграл в творческой судьбе наших знаменитых земляков — Гавриила Троепольского и Алексея Прасолова.

Из эссе и статей Щёлокова многие читатели впервые узнают (а знающие — с удовольствием вспомнят), что в Воронеже в стихах А.Т. Твардовского появился лирический герой по имени Василий Тёркин, ставший впоследствии главным героем знаменитой поэмы; что в селе Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии М.Ю. Лермонтов сочинил музыку для своей «Казачьей колыбельной песни»; что именно в Воронеже А.С. Грибоедова посетили важные мысли о дальнейшей работе над комедией «Горе от ума».

Воронеж всегда был, как пишет автор книги, «транзитным пунктом русского свободомыслия». Расположение города «на пути опального русского вольнодумства» сделало его «знаковой частью истории России». В 1818 и 1826 годах через него проезжал Грибоедов. В 1829 году — Пушкин. Пять раз — с 1937 по 1841 годы — Лермонтов. Позднее — Толстой и Чехов, Горький и Маяковский, другие выдающиеся люди России.

Всё это — важнейшие дополнительные штрихи к богатейшей духовной сокровищнице нашего края, которой все мы гордимся.

Ну а сама книга «Город на лучах зари», безусловно, — такой же — и не менее замечательный — штрих и памятный подарок воронежцам и гостям города.

Евгений НОВИЧИХИН

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи

«Мой город пробуждается легко...»	4
«А на правом берегу — всё холмы...»	6
«Город, город с вертолѐта...»	8
«Где он, город колокольный...»	9
«Ближе к ночи прояснится небо...»	11
«Век мой белый, век мой красный...»	14
Успенская Адмиралтейская церковь	16
«Время инфляции, время инфарктов...»	19
Чужая остановка	20
Переулочек Клинический	22
В городе N	24
Терра инкогнита	26
«Среди дубрав заметней позолота...»	31
Мой выбор	33
«В Воронеже февраль. Ещё морозно...»	35
«Погляди — за окном человечество...»	37
«Пока по ночам над стихом я корпел...»	39
«От погоды нет поблажки...»	40
Колокольный звон	43
«Скучая, осень ворожила...»	45
Сказание о Первомайском парке	47
«Старый город. Вертлявые улочки...»	52
«Суд небесный, суд земной...»	53
«Бабочка пальцекрылка — как Христос...»	55
«Храм Покровский. На морозце...»	56
В день открытия памятника Есенину	58
Монолог Платонова	60
«В музее Никитина, в зальчике душном...»	62

Мой Кольцов	64
«Домик Буниных, вяз, виноград...»	66
В саду в межсезонье	67
Последняя поездка Лермонтова на Кавказ. 1841 год	69
«Жить у памятника Маршаку...»	71
Снегопад	74
«С Проспекта Революции...»	76
Последний вздох	78
Звонок	80
Около Кольцова	84
Печалятся колокола	86
И снова захочется в Анну	89
«Узкий двор. Дом-музей Никитина...»	91
Вечер в Союзе композиторов	94
«О чём ты, скрипка, плачешь на бульваре...»	96
«В цветной накидке формы паруса...»	97
«Вьюга метёт — волнуется...»	99
Стихи у картины	101
«Книга новая на тачке...»	103
«Внучка просит деда — огоньки из глаз...»	105
Уличный гармонист	107
Портреты	109
«Вместе с дождями и пух тополиный сошёл незаметно...» ..	112
«Печали нет, есть грусть невоплощёнья...»	114
«Твой липовый город, где липы — лепниной на фоне фасадов...»	116
«Часы под шпилем башни...»	118
Улица художника Бучкури	120
Каштаны	121
«День — по ступеням, а темь — по дворам...»	123
«Пройди точку роста дневного сна...»	125
«Смотрю я за окошко...»	127
У парка «Орлёнок»	129
«Сенокос на авиазаводе...»	130

«Живу, живу, не думаю о счастье...»	132
«Белым днём у всего на виду...»	134
«Зима. Пандемия. Народу негусто...»	136
«Город метельный — полярный медведь...»	138
На автостанции	141
Отъезд	143
«Рука руки касается едва...»	145
«По привычке чиркну спичкой...»	146
«Прожаренные солнцем, нагрянут ветры с юга...»	148
Случайная встреча	150
«На безлюдной встречаю тебя остановке...»	151
«Я тебя уводил...»	152
«Ты мне понравилась сразу...»	154
«Весь день метёт, и на душе отрада...»	156
«Снег — сегодня, вчера...»	158
Дождь на площади вождя	160
«Возвращаюсь по сумрачной рани...»	163
«От границы липецкой к ростовской...»	165
«Подхвачу в охалку ветер...»	167

Эссе

«И дороги иные, и приметы не те...» Жанровое движение лирики А.Т. Твардовского 30-х годов	171
Вечные странники. Воронежские страницы в кавказских скитаниях М.Ю. Лермонтова	202
«Здесь, однако, пробудем два дни...» Воронежский эпизод в поездке А.С. Грибоедова в Персию	229
А разве вам Песков сегодня не нужен?	260
Непротокольный человек	267
Сердце-колокол	281
Нет у слова особых дорог	297
<i>Евгений Новичихин. О городе нашей судьбы</i>	317

Литературно-художественное издание

Щёлоков Иван Александрович

ГОРОД НА ЛУЧАХ ЗАРИ

Стихи, эссе о Воронеже

Редакторы *В.Е. Новохатский, Ю.М. Кургузов*

Художник *С.А. Налётов*

Корректор *Е.С. Стрельникова*

Компьютерный дизайн и верстка *И.К. Вовчаренко*

Сдано в набор 03.03.2026 г. Подписано в печать 06.03.2026 г.

Формат 60x84^{1/16}. Бумага мелованная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 26,65.

Тираж 300 экз. Заказ № 0307.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в АО «Воронежская областная типография»:
394071, Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а